

66.1(2)

Д 815

С. И. ДУДНИК



МАРКС
ПРОТИВ СССР



Важнейшей проблемой данной книги является вопрос о природе социализма, об успехах и неудачах советского исторического опыта воплощения социалистической идеи. Актуальность данной проблемы обусловлена процессом формирования в России нового гражданского общества, а также продолжающимися в условиях экономического и социального кризиса поисками альтернативных путей общественного развития.

Современные процессы глобализации, порождаемые ими противоречия выдвигают перед сознанием наших современников проблему реактуализации марксизма. Понимание проблем современного мира, необходимость предвидения его изменений требуют обращения к творческому, критическому марксизму, к марксизму, накопившему значительный методологический опыт исследования социальных процессов, а не к марксизму как к догме и канонизированной идеологии.

Для специалистов в области общественных наук, для всех, кого искренне интересуют проблемы и противоречия современного мира и России наших дней.



С. И. ДУДНИК

МАРКС ПРОТИВ СССР

Критические интерпретации
советского исторического опыта
в неомарксизме



Санкт-Петербург
"Наука"
2013

УДК 94(47+57)
ББК 66.1(2)6:66.2(2Рос)
Д 81

Дудник С. И. Маркс против СССР. Критические интерпретации советского исторического опыта в неомарксизме. — СПб.: Наука, 2013. — 304 с.

ISBN 978-5-02-038357-9

Важнейшей проблемой данной книги является вопрос о природе социализма, об успехах и неудачах советского исторического опыта воплощения социалистической идеи. Актуальность данной проблемы обусловлена процессом формирования в России нового гражданского общества, а также продолжающимися в условиях экономического и социального кризиса поисками альтернативных путей общественного развития.

Современные процессы глобализации, порождаемые ими противоречия выдвигают перед сознанием наших современников проблему реактуализации марксизма. Понимание проблем современного мира, необходимость предвидения его изменений требуют обращения к творческому, критическому марксизму, к марксизму, накопившему значительный методологический опыт исследования социальных процессов, а не к марксизму как к догме и канонизированной идеологии.

Для специалистов в области общественных наук, для всех, кого искренне интересуют проблемы и противоречия современного мира и России наших дней.

Рецензенты:

д.ф.н., профессор И. Д. Осипов
д.ф.н., профессор А. И. Стребков
д.ф.н., профессор А. М. Соколов

ISBN 978-5-02-038357-9

© С. И. Дудник, 2013
© Издательство «Наука», 2013
© П. Палей, оформление, 2013

ПРЕДИСЛОВИЕ

Еще совсем недавно намерение написать книгу о марксизме, связывая ее с реалиями нашей действительности, показалось бы по меньшей мере странным. Все классические марксистские схемы представлялись бесповоротно устаревшими. Образ рабочего, долгое время претендовавший на центральное место в общественном спектакле, вначале потерял внимание со стороны средств массовой информации, а затем и вовсе исчез из поля зрения. Да и в то время, пока это еще не произошло, его было довольно трудно отождествить с пролетариатом Маркса, которому, как известно, было нечего терять, кроме своих цепей. Казалось, что мир необратимо изменился — не в том смысле, что он стал более справедливым, но в том, что для его описания необходимы иные понятия, более современные. Было бы странно обращаться к понятию «пролетариат», так как все сходилось во мнении, что оно пригодно лишь для описания явлений, оставшихся навсегда в прошлом. Если бы знаменитая книга Г. Лукача «История и классовое сознание», самая важная глава которой называлась «Овеществление и сознание пролетариата», была издана у нас в 90-х годах, то она скорее всего была бы встречена язвительной критикой. Фигура рабочего, создающего все общественное богатство и в то

же время живущего в нищете, воспринималась большинством как абсолютный анахронизм.

Но в первом десятилетии XXI века все переменялось настолько, что не будет преувеличением сказать, что мир вернулся во времена Маркса. Тот, кто пользуется последними моделями iPhone и iPad, вряд ли не знает, что они произведены на расположенных в Китае заводах, где собирается большинство продуктов Apple. Там же находятся заводы и других производителей электроники. В целом понятно, что главная причина размещения этих заводов в Китае — дешевая рабочая сила. Но просочившиеся в прессу сведения об условиях труда на этих предприятиях — 60-часовая рабочая неделя, отсутствие перерывов, расселение рабочих в общежитиях, лишенных элементарных бытовых условий, использование детского труда и т. п. — сразу же вызывают в памяти страницы «Капитала», описывающие нечеловеческие условия труда и повседневной жизни пролетариев.

В других странах третьего мира чаще всего положение рабочих еще хуже. Так, например, промышленность Индии «славится» тем, что в ней отсутствуют даже самые элементарные экологические ограничения. Именно здесь произошла самая крупная по количеству пострадавших техногенная катастрофа. 3 декабря 1984 года на заводе компании Union Carbide в индийском городе Бхопал произошел аварийный выброс паров метилизоцианата. За полтора часа в атмосферу было выброшено около 42 тонн ядовитых паров. Пострадали близлежащие рабочие кварталы, где погибло 18 тысяч человек. Общее число пострадавших оценивается в 600 тысяч человек. Даже сегодня, когда работа завода приостановлена, на наиболее зараженных территориях возле него продолжают жить люди.

И это далеко не единственный случай: во многих городах Азии, Африки, Южной Америки деятельность промышленных предприятий привела к необратимому загрязнению окружающей среды токсичными и опасными для жизни отходами. В этих городах наблюдателей поражает не только ужасающая нищета, но и самоубийственное стремление местных жителей получить на таком смертоносном предприятии работу.

Описанный Марксом пролетариат, исчезнувший в европейских странах, появился вновь — теперь уже в третьем мире. Благоприятный климат позволяет новым пролетариям уже не тратиться на сооружение лачуг, а жить в картонных коробках на мусорных свалках, а то и на кладбищах, что в перспективе также создает еще одну статью экономии расходов. Дешевая смерть делает жизнь еще более дешевой. Различие в уровне жизни в странах третьего мира измеряется тем, что если, например, в Камбодже, беднейшей стране Азии, даже самый бедный житель может приобрести старенький мотобайк, то во многих странах Африки велосипед, стоящий 20—30 долларов, является недоступной роскошью.

Но сейчас, чтобы увидеть описанного Марксом пролетария, необязательно ехать куда-то в Азию или Южную Америку. Достаточно посмотреть на наших гастарбайтеров, которые хотя и не работают на заводах (потому что их уже нет в России), но безусловно заняты «общественно необходимым» трудом — строят дома, убирают улицы, водят маршрутные такси и т. д. Самая неквалифицированная и самая низкооплачиваемая работа является их участью. Это и есть те «проклятым клейменные», тот «мир голодных и рабов», о которых говорит Маркс. Их классовое сознание находится на самом низком уровне, так как их объединя-

ет не требование упразднения частной собственности, но ненависть к «белым» рабовладельцам. В современной России появился не только обнищавший пролетариат с окраин Советского Союза, но и противостоящий ему правящий класс. Эти два класса еще далеко не полностью осознают свои интересы, и поэтому не понимают, почему их разделяет столь сильная ненависть. Они еще стихийно ищут какое-то подобие классовой идеологии, которая позволила бы им оправдать свое положение в мире и сформировать законченное представление об идеальном общественном порядке.

Удивительно, что все это уже происходило в истории человечества, все это было описано классиками марксизма, и теперь повторяется вновь. Лишнее подтверждение той саркастической формулы, что история учит лишь тому, что она ничему не учит. Объявив марксизм устаревшей теорией, мы внезапно оказались в реальности, которую только марксизм исчерпывающим образом и объясняет. Мы именно теперь и живем в мире, где капитал покупает рабочую силу по цене ее воспроизводства, и все, что эту цену хоть немного увеличивает, достигается кровью и потом борьбы пролетариата за свои права. Русским в России платят больше, чем таджикам, только потому, что в головах работодателей со времен школьных уроков сохранились туманные знания о русских революциях начала XX века. Объяснять этот факт расовой или национальной солидарностью значило бы игнорировать любую, даже самую элементарную социальную теорию. Правоту марксизма мы можем осознать не вследствие ученых дискуссий, а ощутив ее, как говорится, на собственной шкуре. При самом оптимистичном сценарии дальнейшего развития нашей страны мы оказались в положении путешественника во времени из знамени-

того романа Герберта Уэллса — мы вернулись в собственное прошлое, чтобы на личном опыте убедиться, насколько Маркс был прав.

В русле такого рода общих представлений и формировалась идея этой книги. Возвращение «назад, к Марксу» с целью критической оценки того исторического опыта построения общества социализма, который был приобретен нашей страной в прошлом столетии. Основанные на марксистской социальной теории оценки этого опыта весьма разнообразны. Одни из них основаны на отказе признавать опыт СССР социалистическим, так как необходимое для социализма сочетание политической и экономической демократии в советском опыте достигнуто не было. Другие, отталкиваясь от признания, что СССР все же двигался по социалистическому пути, связывают неудачи советского опыта с тем, что он осуществлялся в исторически отсталой стране. Наконец, есть теории, согласно которым, социализм в СССР «перерождается», будучи не в состоянии ответить на вызовы постиндустриального этапа модернизации. В силу идеологических причин любая критика советского опыта во времена СССР категорически отвергалась. Теперь возможен и необходим иной подход к этой критике, который адекватно учитывал бы все ее сильные и слабые стороны. Более того, необходима адекватная оценка советского периода как закономерного этапа в истории России, его отрицательных и положительных сторон.

Следует сразу же сказать, что опыт западноевропейского марксизма в накоплении и систематизации такого рода критических оценок не играет решающей роли в решении поставленной нами задачи. Конечно, знакомство с книгой Г. Лукача «История и классовое сознание», а также с работами Франкфуртской школы

дает немало нового. Но в каком-то смысле это запоздалое чтение также представляет собой путешествие во времени. Нетрудно составить общее представление о том пафосе, который объединяет, точнее, объединял все идейное многообразие, представленное западноевропейским марксизмом, в цельное и более-менее законченное течение. Это пафос радикального освобождения жизни, общества и природы из-под той власти, которую установил над ними капитал. Поэтому тема отчуждения была центральной для всех теоретических дискуссий внутри западноевропейского марксизма. Любые проблемы — как политической философии, так и философии истории — рассматривались в контексте капиталистического проекта эксплуатации человека человеком. Отсюда характерная для Франкфуртской школы, а в определенной мере и для всего западноевропейского марксизма идея, что истоки актуального безраздельного господства капитала лежат в рациональности, утвержденной в эпоху Просвещения. Западный мир не способен измениться изнутри, и ему не остается ничего другого, кроме ожидания грандиозного события, которое вернуло бы жизни европейца историческое измерение. Поэтому как только маоистский Китай начал представлять собой политическую силу, с которой Запад был вынужден считаться, так сразу же надежды западноевропейского марксизма были обращены на Восток. Критический настрой западного марксизма, его этическое и политическое мышление закономерно становится «подрывным», субверсивным. Капиталистической эксплуатации и дегуманизации западноевропейский марксизм противопоставляет возможность превращения всей социальной и культурной реальности в пространство тотального сопротивления. С точки зрения западного

марксизма это тотальное сопротивление должно быть развернуто на два фронта — против либеральной (и в крайней форме фашистской) и социалистической (в крайней форме сталинистской) организации господства капитала. Советский исторический опыт, таким образом, исчерпывается тотальностью капиталистической эксплуатации, он устраняет лишь индивидуальную форму эксплуатации, но не устраняет саму эксплуатацию, наоборот, сообщает ей всеобъемлющий характер «эксплуатации всех всеми». Согласно убеждению, разделяемому большинством представителей западноевропейского марксизма, «советский режим ни в коей мере не является социалистической системой... социализм несовместим с бюрократической, ориентированной на потребление социальной системой... он несовместим с тем материализмом и рационализмом, которые характеризуют как советскую, так и капиталистическую систему».¹

Иными словами, ничего, кроме тотальной системы капиталистической эксплуатации, кроме различных вариантов этой системы, с точки зрения западноевропейского марксизма в мире не было и нет. В этом смысле проблема, которой посвящена эта книга, в западном марксизме не может даже возникнуть, так как объектом критики всегда является только система капитала, принимающая в своем развитии многообразные формы. В то же время характерная для западного марксизма готовность видеть за этим многообразием единую основу выгодно отличает его от советского марксизма, который не был склонен отходить от хорошо известного схематизма в критике противостоящей

¹ Фромм Э. Из плена иллюзий // Фромм Э. Душа человека. М., 1998. С. 545.

системы. Такой схематизм помешал зафиксировать и осмыслить ряд важнейших трансформаций этой системы. Он, в частности, помешал установить тот факт, что классическая последовательность «абстрактный труд—стоимость—деньги» оказалась преобразованной в совершенно новую фигуру, олицетворяемую финансовым капиталом. Господство капитала также приняло новую форму, так как от контроля над производством товаров капитал перешел к контролю над жизнью — разумеется, не над жизнью вообще, а в той мере, в какой эта жизнь необходима для производства. Именно эта трансформация стала причиной возникновения Welfare State (государства всеобщего благосостояния), и именно с этой новой формой в западном марксизме связывалось объяснение природы советского строя. Трансформации был подвергнут и краеугольный камень марксистской теории — закон стоимости. Теперь в стоимость, помимо общественно необходимого рабочего времени, пришлось включать кооперацию, механизмы коммуникации, работу социальных служб и т. д., поскольку все эти факторы оказались прямо задействованными в процессе создания стоимости. В западном марксизме это послужило поводом для рассуждений о «коммунизме капитала».

Управление капиталом, прежде сосредоточенное на самом предприятии, утверждается на уровне общества в целом. Это предопределяет появление новых механизмов угнетения, связанных с суггестивным воздействием на психику, с манипуляциями сознанием, с использованием особых языковых форм. Отсюда новые формы классовой борьбы, выражающиеся в создании новых прав на общественные блага, прав, очевидным образом противостоящих праву частной собственности. Конечная цель — упразднение тех

форм доступа к общественным благам, которые существовали в форме одалживания, кредитов, и формирование новых способов, основанных на требовании «социальной ренты». Дело даже не в каких-то конкретных формах борьбы, а в том факте, что когнитивный труд производит альтернативные возможности развития, механизмы разрешения конфликтных ситуаций, способы выхода из кризиса. Диалектика, по выражению Г. Лукача, перестает быть привилегией сознания пролетариата и становится теоретическим оружием капитала, который использует его с целью развития и организации общества. Здесь речь идет не только о часто цитируемых случаях внимательного прочтения марксова «Капитала» теми, кто управляет реальным капиталом, но и о том, что современное общество, все чаще и чаще описываемое в категориях глобального кризиса, испытывает острую теоретическую потребность в философии, дающей глубокое понимание настоящего. Марксизм, по нашему убеждению, один из самых реальных претендентов на роль такой философии.

ГЛАВА 1. КУРС НА ПОСТРОЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ

1.1. Критика справа: тезис о преждевременности русской революции

Сегодня русские революции начала XX века представляются весьма далекими событиями, мало связанными с современностью, о чем, казалось бы, свидетельствует среди прочего и то, что они, как и любые события древности, обросли мифами, легендами, а мемуары непосредственных участников не содержат ни одного упоминания ни об одном каком-либо факте, в отношении достоверности которого все были бы единодушны. В то же время, если судить по проклятиям в адрес революционных событий начала XX века, раздающимся с одной стороны, и по не менее гневным отповедям, звучащим в ответ с другой, то, возможно, следует сделать вывод, что эти события все еще продолжают будоражить русский дух, а значит, все еще сохраняют для него свою притягательность и свою тайну. И даже при самом поверхностном взгляде на данный вопрос нельзя не признать, что почти все историческое развитие России в XX веке находилось в непосредственной зависимости от драматических событий Октября 1917 года, которые в свою очередь были бы невозможны без революции 1905—1907 го-

дов и без Февраля 1917 года. Более того, и сами эти ключевые события истории России XX века не были, как это иногда пытаются доказать, следствием исключительно внешнего вредоносного влияния на мнимую идиллию русской монархии. Эти революции были органичны русской истории, как органичной ей была и идея «русского коммунизма». В этих революциях как в фокусе сконцентрирован ряд характерных черт русской ментальности, «русское» отношение к собственности, «русское» отношение к труду, «русское» представление о природе власти и государства и т. д. Поэтому осмысление революций начала XX столетия в каком-то смысле является ключевой проблемой для осмысления глубинных противоречий русской истории вообще, по крайней мере нельзя понять историю России, не постигнув смысла этих революций, и, следовательно, того длительного периода русской истории, который они предопределили.

Пока на данный момент, в первые десятилетия XXI века, остается превалирующим представление, что именно эти революции и завели наше отечество в тупик. В каждом отдельном случае такое мнение, вероятно, нетрудно опровергнуть, гораздо сложнее найти причины того, почему оно столь часто воспроизводится в самых разных формах. В то же время бесспорен приоритет научно обоснованного суждения перед обыденным сознанием. И в этом отношении не может остаться незамеченным тот факт, что в постсоветские десятилетия, свободные, казалось бы, от идеологического принуждения, в отечественном общественном сознании не появилось ни одной интерпретации истории, которая хотя бы частично могла соревноваться с марксистской интерпретацией. Марксистские же интерпретации русских революций, совсем не обязатель-

но совпадающие с догматикой «советского марксизма», основываются, как правило, на признании решающей роли революций в истории и исключают их трактовку в качестве событий, спровоцированных внешними враждебными силами.

Поэтому анализ критических интерпретаций советского исторического опыта, выдвинутых в рамках марксизма, было бы целесообразно начать с теорий, обосновывающих историческую преждевременность русских революций. Все они в конечном счете сводятся к убеждению, что Октябрьская революция как кульминация русской революции, хотя и не была бессмысленна, но стремилась, в сущности, к невозможному, стремилась достичь желаемого сразу же, одним актом, тогда как движение к любой цели обязательно предполагает прохождение через необходимые промежуточные стадии. Революция, согласно такому представлению, есть сложное, противоречивое единство скачка и постепенности, прерывности и непрерывности, и если в революционных событиях ставка делается на один момент — в случае русских революций на момент скачка, разрыва, — то историческая трагедия оказывается неизбежной. Отметим, что обоснование представлений о преждевременности русской революции предстает в виде обращения к аутентичности марксизма, к авторитету его классиков. «Как заметил Энгельс, для всякого данного класса нет большего несчастья, как получить власть в такое время, когда он, по недостаточному развитию своему, еще не способен воспользоваться ею надлежащим образом: его ожидает в этом случае жестокое поражение. Что касается нашей трудящейся массы, то ее поражение было бы тем неизбежнее, в случае захвата ею власти, что, как это всем известно, Россия переживает теперь небывалую

экономическую разруху. Кто согласен с этим, — а с этим согласно огромное большинство наших организованных демократов, — тот должен наконец сделать правильный политический вывод им самим признаваемых посылок: он должен разъяснить трудящейся массе, что русская история еще не смолола той муки, из которой будет со временем испечен пшеничный пирог социализма...»² Данная позиция сразу же приобрела не только теоретическое значение, но стала программной для лидеров русской социал-демократии и меньшевизма.³

Утверждение о преждевременности русской революции основывалось на вполне правомочном представлении о том, что она является следствием целого комплекса проблем, возникших еще в XIX столетии, что она органически вытекала из всей совокупности фактов прошлого и настоящего. Особое значение из этой совокупности фактов русские марксисты единодушно отводили реформе 1861 года, которая и создала почву для революционного решения аграрного вопроса. Но между реформой 1861 года и революцией 1917 года не было жесткой механической связи, революция не была предопределена, радикальное решение вопросов, не решенных в 1861 году, было обусловлено

² Плеханов Г. В. Логика ошибки // От первого лица. М., 1992. С. 19—20.

³ Горький М. Несвоевременные мысли и рассуждения о революции и культуре (Новая жизнь. 1917—1918 гг.) // Несвоевременные мысли. М., 1990; Мартов Л. Что же теперь? // Новая жизнь. 1917. 16 (29) июля; Мартов Л. Наши задачи // Искра. 1917. 26 сентября; Плеханов Г. В. О тезисах Ленина и о том, почему бред бывает подчас весьма интересным // От первого лица. М., 1992. С. 44; Чернов В. М. Анархистствующий бланкизм // Дело народа. 1917. 13 июня.

накоплением и обострением противоречий иного плана. Перед Россией открывалась возможность и реформистского решения аграрного вопроса, и именно эту цель ставил перед собой П. А. Столыпин, но соотношение политических сил, участие России в мировой войне и иные обстоятельства не позволили эту возможность реализовать.

В то же время на формирование представлений о преждевременности русской революции оказывала серьезное влияние идея «догоняющего» или «запоздалого» развития России, которая впервые была сформулирована еще историком С. М. Соловьевым в «Публичных чтениях о Петре Великом» (1872): «Простые условия детских перегонок и конских скачек не могут быть сравниваемы с необыкновенно сложными условиями исторического развития народов. Русский народ не отстал по своему развитию от других европейских народов, а только запоздал на два века благодаря тем неблагоприятным условиям, которые окружали его со всех сторон до самого Петра. Разница двух понятий очевидная: отсталость нашего народа предполагает в нем меньшие внутренние силы, меньшую способность к развитию сравнительно с другими народами Европы, а запоздалость — только менее благоприятный исход этого развития благодаря чисто внешним влияниям».⁴ Согласно Соловьеву, Россия принадлежит к христианской цивилизации, что гарантирует ей историческую общность с судьбами Европы. Однако уже ученик Соловьева В. О. Ключевский осознавал, что отставание России от Европы не имеет исключительно количественного характера, что пробле-

⁴ Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984. С. 209.

ма соотношения Востока и Запада гораздо сложнее, и что движение отставшей страны вслед за развитыми не может быть повторением того пути, по которому когда-то эти развитые страны шли в своей истории. «Закон жизни отсталых государств или народов среди опередивших: нужда реформ назревает раньше, чем народ созревает до реформы. Необходимость ускоренного движения вдогонку ведет к перениманию чужого наскоро».⁵ Примером такого «перенимания чужого наскоро» Ключевский считал преобразования Петра I и Александра II. Результаты этого ускоренного перенимания выразились в неразвитости, косности, чрезмерной бюрократизации российского государства, в фактическом отсутствии защиты гражданина через правовые механизмы, в беззаконии и произволе власть имущих, в неспособности правящего класса не только решать возникающие проблемы общественного развития, но даже и составить о них более-менее верное представление.

Очевидно, что и Соловьев и Ключевский, далекие от марксизма и даже поверхностно не знакомые с его социальной теорией, констатируют тот факт, что в конце XIX века различные страны и регионы мира развиваются неравномерно, и различия между ними не сводятся только к срокам и темпам развития, но и распространяются и на его формы, и на его характер. Неравномерность всемирно-исторического развития служила исходной предпосылкой для формирования представлений об «отсталости» России и о необходимости «догонять» передовые страны. Освоение достижений этих передовых стран, осмысление их опыта

1050183

⁵ Ключевский В. О. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 318.

может происходить по-разному, и особенностью России в ее «догоняющем» развитии было то, что именно власть взяла на себя обязанность по мере возможного преодолеть отставание. Это привело к тому, что в России некоторые элементы экономического прогресса, некоторые стороны социально-политического строя были навязаны правящим классом, тогда как в Европе эти заимствуемые элементы вызревали постепенно в самом гражданском обществе. Элементы свободного рынка или, например, судебная система, основанная на равенстве сторон и на состязательности процесса, были в Европе органическим порождением всего процесса общественного развития, тогда как в России эти же самые элементы чисто внешним образом соседствовали с элементами феодализма и архаики. В то же время власть, выступая в глазах общественного мнения инициатором реформ, в необходимости которых мало кто сомневался, получала возможность на какое-то время укрепить свое господствующее положение. Однако в конечном счете эта «миссионерская» роль правящего класса только способствовала обострению революционных настроений в обществе. Дело в том, что стремление власти догнать передовые страны было не отражением интересов общества, а желанием одерживать победы в геополитическом соперничестве. Поэтому иницилируемые властью преобразования осуществлялись в обратной последовательности: не потребности гражданского общества диктовали власти порядок преобразований, а наоборот, инициатива власти диктовала гражданскому обществу, в каком направлении оно должно меняться и какие его потребности являются приемлемыми. Понятно, что при любых реформах положение власти должно было оставаться неизменным, и любые преобразования не должны ста-

вить под сомнение существующий строй. Такого рода «догоняющая» модернизация не только требовала колоссальных ресурсов и затрат, но еще и порождала новые, не имевшие ранее места социальные противоречия. Фактически гражданское общество лишалось свободы выбора, так как власть присваивала себе право решать, что для общества хорошо, а что плохо.

Этими особенностями «догоняющей» модернизации был обусловлен тот факт, что в России капитализм сразу же начинается с крупной промышленностью, тогда как в Европе эта крупная промышленность была итогом длительного развития. В России крупная промышленность образовалась в результате «революции сверху», как следствие реформистских инициатив правящего класса. Такое «искусственное» образование крупного промышленного капитала привело, с одной стороны, к тому, что класс предпринимателей надолго лишился политической и социальной самостоятельности, а с другой — к разрыву между промышленной и аграрной сферами. Если в Европе такие элементы нового экономического строя, как свободный рынок труда, пролетариат, мелкая промышленность, мелкая торговля, формировались на основе определенных процессов в аграрной сфере (включая и социальное расслоение, влекущее за собой появление беднейших сельских слоев на рынке труда, а более богатых — в сфере мелкой промышленности и торговли), то в России деревня оставалась отсталой и долгое время сохраняла свою архаичную социальную структуру. Эта особенность развития капитализма в России была отмечена и Марксом: «Возникновение сети железных дорог в ведущих странах капитализма поощряло и даже вынуждало государства, в которых капитализм захватывал только незначительный верхний слой обще-

ства, к внезапному созданию и расширению их капиталистической надстройки в размерах, совершенно не пропорциональных остову общественного здания, где великое дело производства продолжало осуществляться в унаследованных истари формах. Не подлежит поэтому ни малейшему сомнению, что в этих государствах создание железных дорог ускорило социальное и политическое размежевание, подобно тому как в более передовых странах оно ускорило последнюю стадию развития, а следовательно, окончательное преобразование капиталистического производства».⁶ Таким образом, развитие капитализма в России, создание крупной промышленности и возникновение сети железных дорог вело к социальному расслоению и к обострению противоречий, и вопрос заключался в том, как долго «остов общественного здания» будет в состоянии выдерживать «капиталистическую надстройку».

Ключевым противоречием общественного развития России XIX века, с точки зрения «классического» марксизма, является противоречие аграрной цивилизации, противоречие между крестьянством и землевладельцами, то есть, иными словами, вопрос о земле. Оценка этого противоречия, его роли в грядущей истории России и послужила причиной раскола между Плехановым и Лениным. Для Плеханова борьба крестьян за землю не может быть ключевым содержанием революционной борьбы пролетариата. В соответствии с логикой европейской истории антифеодальная революция совершается не пролетариатом, а буржуазией, и именно такая революция объективно необходима для России. Рабочие могут в ней участвовать, могут даже играть

⁶ Маркс К. – Даниельсону. 10 апреля 1879 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 34. С. 291.

в ней весомую роль, но обязательно в союзе с другими классами, также заинтересованными в антифеодальных преобразованиях. Социалистическая революция, когда рабочий класс освобождает себя, освобождая при этом все общество, — это завершающий этап освободительной борьбы, до которого истории России еще далеко. Поэтому позицию Ленина Плеханов воспринимал как следствие теоретической путаницы, незнания азов марксистской теории, как «бред сумасшедшего», стоящий в одном ряду с русской классикой на «психиатрическую» тему — «Палатой № 6» Чехова и «Записками титулярного советника А. И. Поприщина» Гоголя.⁷

Напомним, что позиция Ленина строилась на противопоставлении двух путей буржуазного аграрного развития — «прусского» и «американского». Первый путь связывался с преобразованиями, проводимыми «сверху», то есть, без учета интересов масс, тогда как второй имел революционно-демократический характер и мог привести к превращению русского крестьянина в цивилизованного фермера. Причем, если Плеханов и его единомышленники, ссылаясь на классические постулаты марксистской теории, говорили о необходимости экономической эволюции, постепенных и «естественных» преобразований, то для Ленина тот очевидный факт, что Россия уже движется по «прусскому» пути, а возможность «американского» пути маловероятна, служил основанием для того, что он исключал возможность эволюционных преобразований и настаивал на неизбежности революции. Вопрос для Ленина заключался лишь в том, какой характер примет эта неизбежная

⁷ Своему комментарию к «Апрельским тезисам» Плеханов дал подчеркнуто вызывающее название: «О тезисах Ленина и о том, почему бред бывает подчас интересен».

революция — будет ли она «городской», основанной на широком демократическом союзе политических сил, выражающих заинтересованность в буржуазно-демократическом развитии России, или же она охватит революционной стихией самые широкие массы, и в таком случае крестьянство неизбежно станет, по крайней мере в количественном отношении, наиболее весомой политической силой, с которой так или иначе будут вынуждены считаться все. Первая революция 1905—1907 годов начиналась как классическая с точки зрения марксистской теории «городская революция». Политические уступки власти частично погасили ее волну, а крестьянские волнения пришлось на 1906—1907 годы, то есть на тот период, когда город включился в инициированные властью демократические процессы, участвовал в выборах в Государственную Думу. Что касается второй и третьей революций, то они проходили уже в таких условиях, когда вовлечение в революционные события самых широких масс было неизбежным. Поэтому, очевидно, неизбежной была и последовавшая за политическим переворотом под знаменем социализма гражданская война. Вынужденной мерой в условиях тотальной разрухи была политика «военного коммунизма», и Ленин, кажется, вполне отдавал себе отчет, что эта временная мера будет восприниматься многими, в том числе и потенциальными союзниками, как генеральная линия новой власти, и, следовательно, социальные противоречия неизбежно будут обостряться.

Парадоксальность данного момента нашей истории заключалась, помимо прочего, и в том, что лидер революционной партии, яростно полемизировавший с Плехановым, лидером реформизма, после окончания гражданской войны сам вступает на путь социального реформирования и политики эволюционного постро-

ения социалистических отношений в России. Модель социалистического реформизма теперь оказывается созвучной тем представлениям о постепенности и «естественности» русского социализма, которых ранее придерживались Плеханов и его единомышленники. Единственное различие между Плехановым и Лениным заключалось в предвидении той оригинальной ситуации, которая сложилась в России после Гражданской войны: власть находилась в руках пролетарской партии, но задачи, которые ей требовалось решать, имели буржуазно-демократический характер. Можно с уверенностью утверждать, что Плеханов и его единомышленники возможность возникновения такой ситуации не предвидели. Насколько ее предвидел Ленин, можно только догадываться, но по крайней мере можно допустить, что эту возможность он не исключал. Более того, история показала, что подобная ситуация может повторяться, так как в Китае времен Дэн Сяопина коммунистическая партия также решала задачи буржуазно-демократического характера. Кроме того, скепсис сторонников Плеханова в отношении социалистического реформизма большевиков можно расценить как исторически оправданный, так как «новая экономическая политика» очень скоро после смерти Ленина была свернута, а форсированная индустриализация и коллективизация закономерно обернулись невиданным усилением карательных функций государства, оправдываемым обострением классовой борьбы, бюрократизацией всей общественной жизни, то есть возвращением к пониманию социалистических преобразований как «революции сверху».

В этой перспективе вопрос о том, был ли кратковременный период «новой экономической политики» следствием верности Ленина принципам классического

марксизма или же ему предшествовал мировоззренческий переворот, является второстепенным. Правящая партия оказалась не готова к решению задач, которые перед ней ставила история, и преждевременная смерть Ленина не может служить оправданием. Несколько отклоняясь в сторону, можно, хотя бы на уровне предположений, указать на некоторые причины этой неготовности. Властители умов XIX века, в той или иной форме принимавшие идею революции, настаивая на исключительности исторической судьбы России и на неприемлемости для нее западного пути развития, не переставали доказывать ограниченность и даже ложность европейских политических свобод. В результате идея демократии оказалась прочно увязанной в общественном сознании либо с чуждыми идеалами Европы, либо с опасной и разрушительной стихией охлократических тенденций, с криминальной безответственностью низов. Во всяком случае после революции в правящем классе возможность демократического развития страны, то есть такого развития, при котором учитывались бы прежде всего нужды и чаяния широких масс, вообще не обсуждалась. Правящая партия не ставила под сомнение свое право решать, что будет для народа благом, а от чего его следует оградить. Поэтому правящая партия руководствовалась в своей деятельности совершенно искаженным образом народных масс, приписывая им абстрактные социальные добродетели (коллективизм, революционность, трудолюбие, героизм и т. д.) и игнорируя реальные характеристики. Очевидно, что этот искаженный образ строился без учета того факта, что в России большинство населения составляло крестьянство, которое к тому же было прочно связано с архаическими социальными структурами и с патриархальной культурой. И хотя правящий

класс рекрутировался из социальных низов, особенно после 30-х годов, его революционность удивительно легко утрачивала характер «революционности снизу» и становилась «революционностью сверху».

Представления о преждевременности революции закономерно порождали убеждение в непригодности тех политических форм, которые возникали в ходе революционных событий. Главной такой формой, по меньшей мере на уровне деклараций новой власти, объявлялись советы, которым отводилась роль политического института, способного в перспективе осуществить освобождение пролетариата. Более того, именно этот институт, в более отдаленной перспективе должен привести к постепенному уничтожению всякой государственности, и поэтому именно советы являются высшей формой политической организации, закономерно возникающей на определенной ступени общественного развития. В своем актуальном состоянии, будучи элементом политической системы послереволюционной России (СССР), советы рассматриваются как наиболее подходящая форма для диктатуры пролетариата и как форма демократии, более высокая, нежели все предшествующие буржуазно-демократические формы. Не оспаривая теоретически эти положения, следует все же заметить, что данные свойства института советов действительны лишь в том случае, если эта форма возникает там, где общественное развитие достигло определенного уровня демократии, и, наоборот, этот институт будет лишен смысла там, где этот уровень еще не достигнут. На практике форма советов, теоретически объявляемая самой «совершенной» формой демократии в рамках опыта строительства социализма в России, объявлялась пригодной для любых народов и обществ, находившихся на самых разных ступенях общественного

развития. Одна и та же форма советов оказывается в равной мере пригодной и для развитых европейских народов России, и для народов Средней Азии, находящихся на стадии феодализма, и для горцев Северного Кавказа или монголов и тувинцев, сохранявших первобытно-патриархальный уклад своей жизни. Иными словами, если и допустить, что для пролетариата России советы являются наиболее подходящей формой осуществления собственной диктатуры, то утверждение, что эта же форма советов может быть оптимальной формой демократии для крестьянства Средней Азии или для скотоводов Забайкалья, не выдерживает никакой критики. Однако на практике именно форма советов объявляется универсальной государственной формой, приспособленной для решения любых задач и противоречий общественного развития. В теории различные народы на собственном опыте должны убедиться в относительном несовершенстве форм буржуазной демократии, чтобы устранить это несовершенство, используя форму советов. Но едва ли они будут способны на это, если их собственный исторический опыт не знает буржуазных форм демократии и не может, следовательно, знать, насколько они совершенны или несовершенны. И если непригодность формы советов для развития отсталых народов России была очевидна, то уместно напомнить, что и пролетариат крупных промышленных городов, если сравнивать его с пролетариатом Европы, также был в начале XX века неразвит и несамостоятелен.

Единомышленники Плеханова, критиковавшие советский строй революционной России,⁸ не без осно-

⁸ См. например: *Мартов Ю.* Идеология советизма. Мистика советской системы // *Мартов Ю. О. Мировой большевизм.* Берлин, 1923. Цит. по: left.ru/2012/1/martov212.phtml

ваний полагали, что практическое внедрение советов как универсальной, пригодной для всех и всегда формы демократии, вступает в противоречие с важнейшим принципом марксистской теории — принципом самоопределения наций. «Развивающийся капитализм знает две исторические тенденции в национальном вопросе. Первая: пробуждение национальной жизни и национальных движений, борьба против всякого национального гнета, создание национальных государств. Вторая: развитие и учащение всяческих сношений между нациями, ломка национальных перегородок, создание интернационального единства капитала, экономической жизни вообще, политики, науки и т. д. Обе тенденции суть мировой закон капитализма. Первая преобладает в начале его развития, вторая характеризует зрелый и идущий к своему превращению в социалистическое общество капитализм. С обеими тенденциями считается национальная программа марксистов, отстаивая, во-первых, равноправие наций и языков, недопустимость каких бы то ни было привилегий в этом отношении (а также право наций на самоопределение...), а во-вторых, принцип интернационализма».⁹ Но это право лишено смысла, если оно понимается только формально, так как смысл права на самоопределение заключается в праве выбрать собственный путь развития и выбирать те политические формы, которые будут наиболее подходящими тому этапу развития, на котором данный народ находится. Возможно, многие большевики были искренне убеждены, что они ни в коей мере не ущемляют права народов России на самоопределение, так как они предлагают этим народам самую лучшую полити-

⁹ Ленин В. И. Критические заметки по национальному вопросу // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 24. С. 124.

ческую форму, к которой те все равно рано или поздно ценой собственных ошибок придут самостоятельно. Представление же о политической форме, которая сама по себе может служить средством решения любых экономических, политических, социальных проблем, не может не быть мистификацией. Поэтому и лозунг «вся власть Советам» воспринимался социал-демократией весьма настороженно, так как даже теоретически было трудно найти оптимальное сочетание советской формы с основами демократического строя, с традиционными ценностями демократии и социализма.

Таким образом в утверждении формы советов социал-демократы видели очередное подтверждение разрыва между практикой и теорией в деятельности большевиков. В теории советы должны были представлять собой политическую форму, выражающую диктатуру пролетариата и формирующуюся по мере того, как в результате обострения классово-борьбы пролетариат преодолевает высшие буржуазные формы демократии. На практике советы оказываются универсальной политической формой, пригодной для разрешения любых противоречий и на любом уровне развития. Этот разрыв между теорией и практикой не мог не проявить себя, когда на повестке дня встал вопрос о последовательном политическом воплощении формы советов.

К идее советов марксистская социальная теория шла постепенно. В основе этой идеи лежал вывод, что эпоха революций, совершаемых небольшими группами революционеров в форме заговора, осталась навсегда в прошлом. На смену этой форме революций приходит другая, предполагающая длительную подготовку восстания и неизбежное привлечение к революционным действиям широких масс. Таким образом, на смену революциям заговорщиков закономерно приходит «ре-

волюция масс». Лозунг «вся власть Советам» выражает стремление обеспечить активное и сознательное участие масс в революционных событиях. Реализация этого лозунга предполагает, что при управлении производством и при решении самых разных социальных проблем различие между управляющими и управляемыми должно быть уничтожено. Форма советов представляется более высокой политической формой, чем буржуазный парламентаризм, потому что парламентский механизм, предполагающий политическое сотрудничество партий, выражающих интересы враждебных друг другу классов, будет неизбежно ограничивать самодеятельность масс и их прямое участие в управлении. «Рабочие, завоевав политическую власть, разобьют старый бюрократический аппарат, сломают его до основания, не оставят от него камня на камне, заменят его новым, состоящим из тех же рабочих и служащих, против превращения которых в бюрократов будут приняты *тотчас* меры, подробно разобранные Марксом и Энгельсом: 1) не только выборность, но и сменяемость в любое время; 2) плата не выше платы рабочего; 3) переход немедленный к тому, чтобы *все* исполняли функцию контроля и надзора, чтобы *все* на время становились «бюрократами», и чтобы поэтому никто не мог стать бюрократом».¹⁰ Советы — это форма прямой демократии, исключая традиционное для буржуазной государственности разделение исполнительной и законодательной власти. При советской форме отпадает необходимость в институтах привилегированного меньшинства (чиновников, военачальников и т. д.), так как их функции сможет выполнять само большинство.

¹⁰ Ленин В. И. Государство и революция // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 103.

И именно поэтому советы в конечном счете приведут к исчезновению государства. Этапы, или различные стороны этого пути предполагают замену профессиональной полиции народной милицией; выборность чиновников любого уровня, а самое главное — их сменяемость в любое время через процедуру отзыва; рабочий контроль за процессом производства и распределения; народный суд, предполагающий не только форму суда присяжных, но и упразднение защитников и обвинителей и решение вопроса о виновности с привлечением самой широкой аудитории; упразднение воинской обязанности и создание добровольческой армии.

Нельзя утверждать, что получившие полноту власти большевики сразу же отказались от воплощения всех этих идей в области государственного строительства. Народная милиция была создана, но очень скоро возникло убеждение, что ее деятельность без участия профессиональных полицейских, хотя бы на правах буржуазных специалистов и под контролем комиссаров, будет совершенно неэффективной. К выборности чиновников так и не удалось подойти, не говоря уже о разработке механизмов сменяемости. Рабочий контроль был учрежден и просуществовал довольно долго (до 1934 года), но над рабочим контролем был установлен партийный контроль, более эффективный (в виде избираемой съездом Центральной Контрольной Комиссии). Что касается народного суда, то уже во втором Декрете о суде восстанавливались функции защитников и обвинителей и восстанавливался только что упраздненный институт предварительного следствия. Последующее государственное строительство большевиков показывает явную тенденцию к усилению государственного централизма, к построению разветвленной бюрократической иерархии. Об-

наруживается и еще одна характерная тенденция — выборные органы власти постепенно, шаг за шагом, освобождаются от любого контроля избирателей, а исполнительные органы в то же самое время точно так же постепенно освобождаются от контроля выборных органов. Синхронность этих процессов, казалось бы, свидетельствует об отсутствии бонапартистских планов властной верхушки, стремящейся сконцентрировать всю власть в своих руках, но в то же время эта же синхронность говорит о неуправляемости процессов бюрократизации, стихийно овладевших политикой государственного строительства.

Парадокс ситуации заключался в том, что идеология правящего класса не отказалась от идеи отмирания государства как от цели революционных преобразований в области государственного строительства. Но теперь выдвигается тезис, что для того, чтобы государство постепенно отмирало, необходимо не постепенное исчезновение государственных учреждений и свойственных им функций, а наоборот, рост числа этих функций и усиление институтов власти. Буржуазный парламентаризм отвергается вследствие неполноты демократии, которую он может предоставить. Но в то же самое время советы оказываются под безраздельным контролем одной-единственной партии и превращаются в простую декорацию, так как не принимают никакого участия в процессе принятия политических решений. Сама партия также превращается в государственное учреждение, наделенное правом всегда перекладывать ответственность за принимаемые решения на иные институты.

Оценка этих процессов в среде российской социал-демократии и меньшевизма не была однозначной. Постепенно складывалось убеждение, что процессы бю-

рократической централизации явно свидетельствуют о несоответствии большевизма требованиям революционной современности, о тенденции его превращения из политического течения в узкую группу заговорщиков. Учитывая вначале, что современная революция может быть только революцией масс, позже, уже захватив власть, большевики испугались революционной стихии и постепенно стали возвращаться к идее диктатуры меньшинства, переходить от идеи диктатуры пролетариата к диктатуре над пролетариатом. В то же время речь не идет только об узурпации власти, необходимо говорить и о том, что пролетариат России сам оказался не готов вести за собой народные массы к социализму. В таких условиях решающую роль стала играть готовность меньшинства играть роль передового революционного отряда, его способность осуществлять диктатуру над пролетариатом в интересах самого пролетариата. Но унаследованный страх перед демократией повел революционный авангард не в сторону организации самодеятельности масс, а в сторону бюрократизма и полицейского терроризма.

Следует отдать должное: такой ход событий предвидели некоторые из единомышленников Плеханова, считавшие, что большевизм был вынужден обратиться к якобинским способам решения проблем, вставших перед Россией в ходе революции. П. Аксельрод, один из членов плехановской группы «Освобождение труда», писал еще в 1903 году: «Если, как говорит Маркс по поводу Великой Французской революции, „в классически строгих преданиях римской республики борцы за буржуазное общество нашли идеалы и искусственные формы иллюзий, необходимые для того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно ограниченное содержание своей борьбы“, то отчего

бы истории не сыграть с нами злую шутку, облачив нас в идейный костюм классически-революционной социал-демократии, чтобы скрыть от нас буржуазно-ограниченное содержание нашего движения». ¹¹ Синонимом движения большевизма в сторону диктатуры меньшинства для социал-демократов России становится якобинство, которое единодушно рассматривается в качестве образца мелкобуржуазной теории и практики. «Термин „якобинец“ в конце концов получил два значения: первое — собственное, исторически точное значение, как название определенной партии Французской революции, которая, обладая определенной программой, ставила своей целью осуществить (определенным способом) переворот во всей жизни страны на базе определенных социальных сил и чей метод партийной и правительственной деятельности отличался исключительной энергией, решительностью и смелостью, порожденными фанатической верой в благотворность этой программы и этого метода. В политическом языке эти два аспекта якобинства раскололись, и якобинцем стали называть энергичного, решительного и фанатичного политика, который фанатически убежден в чудодейственной силе своих идей, каковы бы они ни были. В этом определении преобладали скорее разрушительные элементы, проистекавшие из ненависти к противникам и врагам, чем элементы созидания, которые проистекают из поддержки требований народных масс; скорее преобладал элемент сектантства, заговорщической узости, фракционности, необузданного индивидуализма, чем

¹¹ Аксельрод П. Искра. 1905, № 55. 15 декабря. Цит. по: Пантин И. К. Октябрьский перелом: триумф и поражение Ленина // Альтернативы. 2010. № 2. С. 31–32.

политический национальный элемент».¹² Неслучайно сам А. Грамши использует этот термин и применительно к Макиавелли, подчеркивая буржуазный характер его политической теории и не забывая при этом упомянуть, что она опередила свое время. Поэтому этот термин представляется оптимальным для обозначения той инволюции, которую претерпевает большевизм, возвращаясь от «революции масс» к «революции заговорщиков».

Утверждение, что революция в России была преждевременной, и утверждение, что она, в полном соответствии с тактикой якобинства, опередила свое время, отличаются друг от друга лишь нюансом оценки. В любом случае окончательная оценка будет зависеть от окончательного результата, а для единомышленников Плеханова этот результат становился ясным по мере того, как большевизм сворачивал программу социального реформирования («новую экономическую политику») и возвращался к якобинской диктатуре меньшинства, нацеленной теперь на удержание власти и на борьбу с внутренними и внешними врагами. Адекватная оценка этого накапливающегося опыта была возможна на основе возвращения к классическому, аутентичному марксизму, где сущность революционного якобинства уже была раскрыта.

Так возникает феномен *ортодоксального марксизма*, которому в советском историческом опыте будет суждено сыграть весьма важную роль, и поэтому сам этот феномен заслуживает особого рассмотрения. Речь идет о попытке систематизации или, точнее, создания кодекса марксистского учения, который вклю-

¹² Грамши А. Избранные произведения в трех томах. Т. 3. Тюремные тетради. М., 1959. С. 352.

чал бы в себя набор проверенных на практике и не оспариваемых самими марксистами положений. Может показаться, что такой кодекс легко обнаруживается в знаменитой работе Сталина «О диалектическом и историческом материализме», которая, с несущественными дополнениями и изменениями, воспроизводилась во всех учебниках марксистско-ленинской философии до конца 80-х годов. Но следует отметить, что сама эта работа уже является составной частью идеологической машины, созданной яacobинцами-сталинистами для решения своих специфических задач.¹³ Работа «О диалектическом и историческом материализме» представляет собой феномен идеологии хотя бы потому, что ни одно из предложений, составляющих ее текст, не проходит процедуру возможной фальсификации (в том смысле, что подразумевается, что они никем и никогда не могут быть оспорены).

Более интересный претендент на роль теоретического кодекса ортодоксального марксизма — это вышедшая в свет в 1921 году книга Н. И. Бухарина «Теория исторического материализма. Популярный учебник по марксистской социологии».¹⁴ Легко убедиться, что многие ее положения не только вошли в указанное выше сочинение Сталина, но, что гораздо важнее, дают аргументированное обоснование сталинским доводам и раскрывают логику их происхождения. Кроме того, год появления этой книги приходится на период поворота большевизма к «новой экономиче-

¹³ Рассказывают, что один из слушателей Института Красной Профессуры, позже уехавший из СССР, узнал в работе Сталина точную копию своего конспекта, позабытого когда-то в аудитории.

¹⁴ *Бухарин Н. И.* Теория исторического материализма. Популярный учебник марксистской социологии. М., 1921.

ской политике», поворота к социальному реформизму, а именно это обстоятельство, как выше было показано, и рождает потребность в возвращении к аутентичному марксизму и в оценке текущей ситуации в России.

Бухарин был убежден, что его социология является наиболее ясным и последовательным выражением материалистического понимания истории. Материализм, по его убеждению, заключается именно в том, что явления духовного порядка, идеи сводятся к их основанию в материальном бытии общества. Посредством такого сведения обнаруживается реальная основа различных идейных конструкций, самостоятельность идей разоблачается и мышлению человека получает твердое основание в экономическом базисе общественной жизни. Подобного рода редукционизм надолго становится главным методологическим новшеством ортодоксального марксизма, хотя именно он представляет собой полную противоположность методологии мышления самого Маркса. «Конечно, много легче посредством анализа найти земное ядро туманных религиозных представлений, чем, наоборот, из данных отношений реальной жизни вывести соответствующие религиозные формы. Последний метод есть единственно материалистический, а следовательно, единственно научный метод».¹⁵

Уподобляя науку об обществе естествознанию, Бухарин полагал, что в той мере, в какой эта наука способна открыть законы общественной жизни, она способна предсказывать и будущее данного общества. «Если мы знаем законы общественного развития, то есть пути, по которым неизбежно идет общество, на-

¹⁵ *Маркс К.* Капитал // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Изд. 2-е. Т. 23. С. 383.

правление развития, то нам не трудно определить и будущее общества». ¹⁶ Как и в механике, в науке об обществе со временем будут возможны абсолютно точные предсказания всех общественных процессов, и если мы не можем делать такие предсказания сейчас, то «это происходит потому, что мы еще не располагаем такими знаниями законов... которые можно было бы выразить в точных числах. Мы не знаем скорости социальных процессов, но мы имеем возможность знать их направление». ¹⁷ Такое убеждение также становится одной из главных характеристик ортодоксального марксизма, базировавшегося на декларации о неизбежности коммунизма и о неотвратимости движения к нему всех существующих общественных форм. Не стоит и говорить, что на самом деле такая вера в предсказательные возможности марксистской социальной теории была несовместима с мышлением самого Маркса, поскольку она несовместима с научным мышлением вообще.

Внешне основываясь на предисловии «К критике политической экономии», Бухарин создает схему: производительные силы—производственные отношения—политическая и идеологическая надстройка. Напомним, что именно эта схема заложила длительную традицию преподавания марксизма в вузах, она же прочно лежала в основании многих теоретических исследований. Согласно этой схеме надстройка была не более чем отражением базиса, именно такое понимание соотношения базиса и надстройки являлось важнейшей чертой ортодоксального марксизма. Любые иные истолкования были идеологически недопустимыми:

¹⁶ Бухарин Н. И. Теория исторического материализма. С. 47.

¹⁷ Там же. С. 48.

«Теория надстроек действительно находится в центре эзотерического марксизма Бахтина и его школы в 20-е годы, и вплоть до замечательных работ Альтюссера и Мамардашвили 60—70-х годов она оставалась непревзойденной. Вразрез с официальным марксизмом (Плеханов с его „пятичленкой“, к которому присоединились Ленин в „Материализме и эмпириокритицизме“, Богданов и Бухарин с его „Теорией исторического материализма“), не сумевшим вылучить концептуальную суть из смыслообразов „базис“ и „надстройка“ (для выросших на тезисе Хайдеггера „язык есть дом бытия“ должно же быть сколько-нибудь внятно, что „базис“, то есть фундамент, и „надстройка“, то есть все воздвигнутое на этом фундаменте, это не что иное, как элементы философской метафоры „дом общественного бытия“. И ничего более.), вразрез с этим гипостазированием метафоры бахтинский эзотерический марксизм вернулся к Марксову пониманию общественной целостности с характерной для нее нераздельностью/неслиянностью бытия и сознания».¹⁸ Если «базис», «фундамент» и «надстройка» представляют собой лишь метафоры, передающие идею «дома общественного бытия», то и сама категория общественного бытия связывается Марксом не со способом производства, а общественной жизнью в целом, с обществом как тотальностью. Но в официальном марксизме утвердилось именно отождествление общественного бытия с экономическим базисом, отождествление, вследствие которого все, что относится к надстройке, обрело статус иллюзорности, нереальности, фиктивности.

¹⁸ *Земляной С.* Что такое эзотерический марксизм? // Независимая газета. Приложение Книжное обозрение «Ex libris НГ» 1999. 28 янв. (N 3). С. 3.

Опять-таки необходимо подчеркнуть, что подобное понимание базиса как активного начала, а надстройки как пассивного, способного лишь на отражение базиса, едва ли можно найти у самого Маркса. Скорее можно найти опровержение такого понимания: «Согласно материалистическому пониманию истории в историческом процессе определяющим моментом в конечном счете является производство и воспроизводство действительной жизни. Ни я, ни Маркс большего никогда не утверждали. Если же кто-нибудь искажает это положение в том смысле, что экономический момент является будто единственно определяющим моментом, то он превращает это утверждение в ничего не говорящую абстрактную, бессмысленную фразу. Экономическое положение — это базис, но на ход исторической борьбы также оказывают влияние и во многих случаях определяют преимущественно форму ее различные моменты надстройки».¹⁹

Глубокую оценку книге Бухарина дал Г. Лукач: «Теория Бухарина, очень сильно сближающаяся с буржуазным — естественнонаучным — материализмом, в силу этого ...при своем применении к обществу и истории... зачастую смазывает решающее требование марксистского метода: сводить все феномены политэкономии и „социологии“ к общественным отношениям людей между собой. Теория приобретает привкус ложной „объективности“: она становится фетишистской».²⁰ Эту оценку вполне возможно распространить и на весь ортодоксальный марксизм в

¹⁹ Энгельс Ф. — Йозефу Блоху. В Кенигсберг. 21–22 сентября 1890 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 37. С. 395.

²⁰ Лукач Г. Николай Бухарин. Теория исторического материализма (рецензия) // Лукач Г. Ленин и классовая борьба. М., 2008. С. 436.

целом. Не умея «развеществлять» феномены общественной жизни, не умея увидеть за ними общественные отношения людей между собой, он неизбежно эти феномены овеществляет, опредмечивает. Картина общественной жизни, создаваемая посредством процедур опредмечивания, неизбежно превращается в идеологию, то есть в ложное сознание.

1.2. Критика слева: отложенная мировая революция и бюрократическое перерождение советского государства

Первая критическая реакция в среде марксистов Европы на теории несвоевременности русской революции связана с именем Розы Люксембург. Примечательно, что до революции 1917 года ее позиция в этом вопросе в общих чертах совпадала с позицией социал-демократии. Эта позиция сводилась к следующему: социально-экономические предпосылки для построения социализма в России выражены слабее, чем в странах Запада, но поскольку внутренние противоречия русской истории выдвигают пролетариат в авангард революционного движения, то перед ним открывается возможность борьбы за социализм. Но после событий 1917 года Р. Люксембург выступает решительно против «доктринерской теории... согласно которой Россия, как страна экономически отсталая, преимущественно аграрная, будто бы еще не созрела для социальной революции и для диктатуры пролетариата. Это теория, которая считает допустимой в России только буржуазную революцию — а из этого мнения вытекает также и тактика коалиции социалистов в России с буржуазными либералами, — это одновременно теория оппорту-

нистического крыла в российском рабочем движении, так называемых меньшевиков под испытанным руководством Аксельрода и Дана».²¹

В то же время к тем предпосылкам, которые подталкивали меньшевиков России к выводу о несвоевременности революции, Р. Люксембург добавляет еще ряд внешних условий, в которых диктатура пролетариата делала первые шаги: мировая война, тот факт, что Россия была самой реакционной в политическом отношении державой, а также бездействие международного пролетариата. Эти крайне неблагоприятные факторы и привели к тому, что в тактических вопросах большевики России были вынуждены далеко отойти от классических представлений о «нормальной» социалистической революции. И самое главное — если согласно классическим марксистским представлениям диктатура пролетариата является более высокой формой демократии, то именно от элементов демократии, в условиях, когда сам пролетариат составляет меньшинство населения России, необходимо, по крайней мере на время, отказаться. С этой точки зрения роспуск большевиками институтов буржуазного парламентаризма, ограничение некоторых прав и свобод является, по убеждению Р. Люксембург, необходимым. В то же время такое отступление на практике не означает, что от демократии необходимо отказаться и в теории. «Разумеется, каждое демократическое учреждение имеет свои рамки и недостатки, как, впрочем, и все другие человеческие институты. Но только найденное Троцким и Лениным целебное средство — устранения демократии вообще — еще

²¹ *Роза Люксембург*. Рукопись о русской революции // *Роза Люксембург. О социализме и русской революции*. М., 1991. С. 311.

хуже, чем тот недуг, который оно призвано излечить: оно ведь засыпает тот живой источник, черпая из которого только и можно исправить все врожденные пороки общественных учреждений, — активную, беспрепятственную, энергичную политическую жизнь широчайших народных масс». ²² Без демократических учреждений, без предоставления широким массам прав и свобод диктатура пролетариата развиваться не может. Временные ограничения возможны и необходимы, но именно как временные ограничения, вызванные гражданской войной, разрухой и иными крайне неблагоприятными условиями. Но сами эти ограничения нельзя выдавать за абсолютную истину, обязательную для всех остальных.

Главное условие, снимающее все эти ограничения, — пролетарские революции в других странах, в случае победы ведущие к поддержке России в борьбе с внешними врагами. Р. Люксембург, как, между прочим, и многие марксисты того времени, была уверена в неизбежности такого хода развития событий. Поэтому у нее так и не возник вопрос: возможна ли пролетарская революция, которая по той или иной причине отбросит принципы демократии? Но ответ на этот так и не поставленный вопрос у нее имелся: «Без всеобщих выборов, неограниченной свободы печати и собраний, свободной борьбы мнений замирает жизнь в любом общественном учреждении, она превращается в видимость жизни, деятельным элементом которой остается одна только бюрократия. Общественная жизнь постепенно угасает, дирижируют и правят с неумемной энергией и безграничным идеализмом несколько дюжин партийных вождей, среди

²² Там же.

них реально руководит дюжина выдающихся умов, а элита рабочего класса время от времени созывается на собрания, чтобы рукоплескать речам вождей, единогласно одобрять предложенные резолюции. Итак, по сути — это хозяйничанье клики; правда, это диктатура, но не диктатура пролетариата, а диктатура горстки политиков, т. е. диктатура в чисто буржуазном смысле, в смысле господства якобинцев (перенос сроков созыва съездов Советов: с раз в три месяца до раз в шесть месяцев). Более того: такие условия должны привести к одичанию общественной жизни — покушениям, расстрелам заложников и т. д. Это могущественный объективный закон, действия которого не может избежать никакая партия».²³

Антиякобинское противоядие у Р. Люксембург было, по сути дела, тем же, что и у критикуемых ею меньшевиков и социал-демократов. Пролетариат, придя к власти, не упраздняет демократию как таковую, а создает вместо буржуазной демократии социалистическую демократию. И создание социалистической демократии — это не единовременный акт, выраженный в декрете, а длительный процесс, требующий кропотливой и тяжелой работы. Эта работа направлена на пробуждение политической энергии масс, на развитие навыков самоорганизации, на вовлечение все большего и большего числа людей в различные формы политической деятельности. Диктатура пролетариата должна быть делом не одной лишь партии, и даже не одного лишь передового отряда пролетариата, но делом всего класса. Поэтому обязательным признаком диктатуры пролетариата является общественный контроль за политическими институтами.

²³ Там же.

Проблема заключалась не только в том, чтобы указать общее направление развития социалистической демократии, но и в том, чтобы найти конкретные формы общественного контроля, а также в случае сопротивления бюрократии этому контролю найти способы преодолеть такое сопротивление. Все эти вопросы, а также их практическая реализация в ходе русской революции, остались вне поля зрения Р. Люксембург, убитой в январе 1919 года и поэтому имевшей возможность наблюдать лишь за самым началом революционных преобразований в России. Л. Д. Троцкий, поначалу отвергавший критические доводы Р. Люксембург и даже являвшийся в ее глазах ответственным за явные деформации социалистической демократии, несколько позже присоединяется к критике диктатуры пролетариата с позиций автора «Рукописи о русской революции». Лейтмотив всех его критических выпадов против сталинизма — превращение диктатуры пролетариата в диктатуру узкого слоя партийной бюрократии. Но вопросы, оставшиеся без ответа у самой Р. Люксембург, теперь встают и перед ним — каковы должны быть формы общественно контроля за политическими институтами, которыми грозит опасность бюрократизации, и какими должны быть механизмы преодоления ее сопротивления попыткам такой контроль установить? К идеям самого Троцкого мы вернемся несколько позже, что же касается самой истории, то она, как известно, оставила эти вопросы без ответа.

Сама Р. Люксембург понимала, что развитие социалистической демократии в условиях России начала XX века — задача невероятно сложная, и у нее не было полной уверенности, была ли вообще в распоряжении Ленина и Троцкого возможность эту задачу решить. «Дело заключается в том, что надо отличать в полити-

ке большевиков существенное от несущественного, коренное от случайного. В этот последний период, когда мы находимся накануне решающих последних боев во всем мире, важнейшая проблема социализма, самый жгучий вопрос времени — не та или иная деталь тактики, а способность пролетариата к действию, революционная активность масс, вообще воля к установлению власти социализма. В этом отношении Ленин и Троцкий со своими друзьями были первыми, кто пошел впереди мирового пролетариата, показав ему пример; они до сих пор все еще *единственные*, кто мог бы воскликнуть вместе с Гуттенем: „Я отважился!“ Вот что самое существенное и *непреходящее* в политике большевиков. В этом смысле им принадлежит бессмертная историческая заслуга: завоеванием политической власти и практической постановкой проблемы осуществления социализма они пошли впереди международного пролетариата и мощно продвинули вперед борьбу между капиталом и трудом во всем мире. В России проблема могла быть только поставлена. Она не могла быть решена в России, она может быть решена только интернационально. И в этом смысле будущее повсюду принадлежит „большевизму“». ²⁴ Иными словами, даже если опыт строительства социализма в России будет неудачным, его безусловно положительное значение будет заключаться в том, что это *первый* опыт. Тот факт, что успешное решение вставших перед русской революцией задач Р. Люксембург связывала с кардинальным изменением международной ситуации и с победой социалистической революции в развитых странах Европы, говорит о том, что она испытывала в отношении перспектив революции в России немалый пессимизм.

²⁴ Там же.

С возражениями против критики Р. Люксембург выступил Г. Лукач, обвинивший ее в ложной оценке характера пролетарской революции в России. Точнее говоря, эта оценка, согласно Лукачу, является искаженной, поскольку Р. Люксембург преувеличивает силу и сознательность русского пролетариата и в то же время недооценивает силу непролетарских элементов и их негативное влияние на формирование пролетарского сознания. «И это ложное суждение относительно подлинных движущих сил революции подводит к решающему пункту ее ложной установки: к недооценке роли партии в революции, к недооценке значения сознательной политической деятельности в сравнении с элементарным движением, следующим необходимости экономического развития».²⁵ Следует заметить, что в критической позиции Лукача имеется явное противоречие: аргументы теоретического характера он опровергает ссылками на особенности текущего момента, в который в силу обстоятельств, необходимо сделать временное тактическое отступление от принципов, а затем саму необходимость такого тактического отступления он преподносит как теоретический принцип, который, по его мнению, остается непонятым у Р. Люксембург. Таким образом, у Лукача получается, что критика русской революции у Р. Люксембург является в принципе верной, но следовать ее критическим доводам пока не стоит, лучше отложить социалистическую демократию в России до лучших времен. «В тот момент нечего было и думать о постепенном „переводе“ этого движения „в русло социа-

²⁵ Лукач Г. Критические заметки к брошюре Розы Люксембург «Русская революция» // Лукач Г. История и классовое сознание. М., 2003. С. 348–349.

лизма“. Это можно и нужно было попытаться сделать позже. Здесь неуместно обсуждать, в какой мере эти попытки действительно потерпели неудачу (на мой взгляд, дело еще далеко нельзя считать разрешенным; бывают „неудавшиеся“ попытки, которые тем не менее впоследствии оказываются плодотворными) и каковы были причины их неудач. Ибо здесь рассматривается решение большевиков, принятое в момент завоевания власти».²⁶ Необходимо завоевать власть, затем в стране, где пролетариат составляет меньшинство и испытывает разлагающее влияние непролетарских идеологий, необходимо эту власть удержать. Поэтому пока вопрос о вовлечении все более и более широких пролетарских масс в революционную деятельность может быть отложен до лучших времен, как и вопрос о механизмах контроля над удерживающими властью. Эти вопросы не актуальны, следовательно, актуален вопрос о механизмах удержания и укрепления власти. Кардинальное изменение ситуации Лукач опять-таки видит в мировой пролетарской революции: «В интересах дальнейшего развития революции необходимо *всеми средствами и при всех обстоятельствах удерживать господствующую власть в руках пролетариата*, ясно понимая, что совокупное положение мирового хозяйства рано или поздно должно подтолкнуть пролетариат к революции в мировом масштабе, которая только и сможет действительно осуществить экономические мероприятия в духе социализма».²⁷

К этому у Лукача добавляются рассуждения на тему «свобода для пролетариата или пролетариат для

²⁶ Там же. С. 348.

²⁷ Лукач Г. Критические заметки к брошюре Розы Люксембург «Русская революция». С. 363.

свободы», «демократия для пролетариата, или пролетариат для демократии». «Формы и степень „свободы“ зависят в период диктатуры от состояния классовой борьбы, от силы врага, от интенсивности угрозы диктатуре, от требований, завоевываемых на сторону диктатуры, от зрелости союзнических с пролетариатом и находящихся под его влиянием слоев. Свобода столь же мало, как и социализация, может быть самоценной. Она должна служить господству пролетариата, а не наоборот».²⁸ Такого рода доводы заставляют заподозрить их автора в лукавстве. Если под демократией понимать формальные процедуры и механизмы осуществления народовластия, то, разумеется, с целью расширения самой демократии (поскольку социалистическая демократия есть ее высшая форма), необходимо господство пролетариата. В то же время непонятно, в силу чего становится возможной альтернатива «пролетариат для демократии или демократия для пролетариата». К тому же свобода, освобождение всего человечества, а не господство пролетариата является целью и смыслом истории, и если речь опять-таки идет о текущем моменте и о тактическом отступлении от принципов, то формула «свобода для пролетариата» должна по меньшей мере настораживать. Впрочем, и здесь поставленные Р. Люксембург вопросы сохраняют свою силу. Освобождение пролетариата не может оставаться декларацией, и поэтому необходимы механизмы ее обеспечения, а эти механизмы даже в самом удачном случае не могут совпадать с механизмами удержания власти правящей бюрократией. Досадно, что в целом критика Лукача не выходит из русла более поздней оценки Сталина, обвинившей Р. Люксембург

²⁸ Там же.

в том, что она вместе с Парвусом сочинила «утопическую и полуменьшевистскую схему перманентной революции (уродливое изображение марксовской схемы революции), проникнутую насквозь меньшевистским отрицанием политики союза рабочего класса и крестьянства, и противопоставили ее большевистской схеме революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. В дальнейшем эта полуменьшевистская схема перманентной революции была подхвачена Троцким (отчасти Мартовым) и превращена в орудие борьбы против ленинизма».²⁹ Эта оценка является совершенно несправедливой и невежественной, так как даже сам Сталин в статье «Октябрьская революция», полемизируя с К. Радеком, утверждал: «Неверно, что теорию перманентной революции... выдвинули в 1905 г. Роза Люксембург и Троцкий. На самом деле теория эта была выдвинута Парвусом и Троцким».³⁰ Отвечая своему корреспонденту, указавшему на это противоречие, Сталин говорит, что здесь две разные стороны вопроса, и есть принципиальное различие между «сочинили» и «выдвинули», но в чем именно это различие заключается, он не дает себе труда уточнить. Вина же Р. Люксембург в создании теории перманентной революции теперь состоит в том, что «она находилась тогда за кулисами, воздерживалась от активной борьбы с Лениным на этой почве, предпочитая, видимо, не ввязываться пока что в борьбу».³¹ Беспомощность отговорок Ста-

²⁹ Сталин И. В. О некоторых вопросах истории большевизма. Письмо в редакцию журнала «Пролетарская Революция» // Соч. И. В. Сталина. Т. 13. М., 1946. С. 91.

³⁰ Сталин И. В. Октябрьская революция // Соч. И. В. Сталина. Т. 6. М., 1946. С. 380.

³¹ Сталин И. В. Ответ Олехновичу и Аристову: По поводу

лина еще раз свидетельствует, что критические доводы Р. Люксембург в отношении опыта первых лет социалистического строительства вызывали в партийной бюрократии определенную растерянность, что объясняет и попытки Сталина выставить Р. Люксембург соучастницей Л. Троцкого и тем самым опорочить ее критику, и неуклюжую теоретическую помощь Г. Лукача, предвидевшего, что революционный авторитет Р. Люксембург при любом развитии событий будет довольно высоким, а ее критика отклонения большевиков от социалистической демократии будет вызывать у них серьезные затруднения. Такого рода опасения были обоснованы, так как Р. Люксембург была не только политиком, с авторитетом которой нельзя было не считаться, не только основателем и лидером коммунистической партии Германии, но одним из наиболее глубоких марксистских теоретиков. И ее заслуги в развитии марксистской теории были связаны с критикой идеологии немецкой социал-демократии во главе с Э. Бернштейном и К. Каутским, нашедшей свое закономерное отражение в идейных построениях Плеханова и его единомышленников. Объектом критики выступало свойственное этому течению эволюционное понимание истории, и вытекающие из него представления о постепенном перерастании буржуазного общества в социализм и преждевременности революции в России. Сама русская революция есть «пощечина здешней социал-демократии и всему спящему Интернационалу. Каутский, разумеется, не нашел ничего лучшего, чем доказывать статистически,

письма в редакцию журнала «Пролетарская Революция». «О некоторых вопросах истории большевизма» // Соч. И. В. Сталина. Т. 13. М., 1946. С. 126—132.

что социальные условия России еще не созрели для диктатуры пролетариата! Достойный «теоретик» Независимой социал-демократической партии! Он позабыл, что «статистически» Франция в 1789 году, а также и в 1793 году была еще менее созревшей для господства буржуазии». ³² Представления о преждевременности русской революции свидетельствуют о «кабинетном» характере подобных теорий, о нежелании признать тот факт, что любое необходимое движение истории совершается через борьбу масс.

Теории преждевременности русской революции основаны на неверном понимании событий всемирной истории начала XX века. «Мировая война поставила общество перед альтернативой: либо дальнейшее существование капитализма, новые войны и скорая гибель в хаосе и анархии, либо ликвидация капиталистической эксплуатации... Из всей кровавой сумятицы и зияющей пропасти нет иного выхода, иного спасения, кроме социализма. Только мировая революция пролетариата может внести порядок в этот хаос, может дать всем работу и хлеб, положить конец нынешнему взаимному истреблению народов, может принести измученному человечеству мир, свободу, подлинную культуру». ³³ Таким образом, мировая война в случае сохранения капитализма прямо ведет к уничтожению человечества, и социалистическая революция выступает как единственный путь его спасения. Но эта принципиально новая историческая ситуация делает

³² *Роза Люксембург*. Из письма Марте Розенбаум. Бреслау, позднее 12 ноября 1917 г. // *Роза Люксембург. Актуальные аспекты политической и научной деятельности*. (К 85-летию со дня гибели.) Международная конференция в Москве 12 февраля 2004 г. М., 2004. С. 230.

³³ *Роза Люксембург*. Чего хочет Союз Спартака // Там же. С. 242.

невозможной прежнюю форму революций, предполагавшую свержение центральной власти и распространение революционных преобразований от центра к периферии, «сверху вниз». Новая революция не может не быть «революцией снизу», что означает не только широкое участие в революционных событиях народных масс, но и неизбежность последовательно демократического характера революционных преобразований.

Поэтому само противопоставление понятий «диктатура» и «демократия», по убеждению Р. Люксембург, является в корне ошибочным. «„Диктатура или демократия“ — такова постановка вопроса как большевиками, так и Каутским. Последний решает для себя, естественно, в пользу демократии, а именно буржуазной демократии, ибо именно ее он противопоставляет как альтернативу социалистическому перевороту. Ленин — Троцкий, напротив, решают в пользу диктатуры в противовес демократии и тем самым диктатуры горстки людей, то есть буржуазной диктатуры. Таковы два противоположных полюса, оба равноудаленные от истинной социалистической политики».³⁴ Все дело в реальном социальном наполнении идеи диктатуры. Если это диктатура большинства над меньшинством, то ее демократический характер может вызывать сомнения только у представителей данного меньшинства. Но если это диктатура узкой группы лиц, какого-либо клана, то она не может быть диктатурой пролетариата. В силу своей природы диктатура пролетариата не может противопоставляться демократии, поскольку та-

³⁴ *Роза Люксембург*. Наша Программа и политическая ситуация. Доклад на Учредительном съезде Коммунистической партии Германии 31 декабря 1918 г. в Берлине // Там же. С. 277.

кая диктатура должна являться политической формой революционной активности народных масс, формой их участия в управлении государством и обществом. Социалистические преобразования предполагают диктатуру класса, а не какой-либо группы лиц, какой-либо партии. Диктатура пролетариата может осуществляться только «при самой широкой гласности, при самом деятельном беспрепятственном участии народных масс, при неограниченной демократии».³⁵ Исходя из этих принципов, Р. Люксембург критиковала декрет правительства Ленина и Троцкого о выборах, который лишал различные категории трудового населения России избирательного права. Диктатура пролетариата осуществляет управление обществом не только в интересах трудящихся, но и посредством их активного участия в управлении, что предполагает не только право избирать органы власти, но и право их контролировать. В более отдаленной перспективе управление посредством избираемых и контролируемых органов власти должно перейти к формам общественного самоуправления.

Такое понимание социалистической демократии предполагает и определенное понимание свободы: «Свобода лишь для сторонников правительства, лишь для членов одной партии — сколь бы многочисленными они ни были — это не свобода. Свобода всегда есть свобода для инакомыслящих. Не из-за фанатизма «справедливости», а потому, что от этой сути зависит все оживляющее, исцеляющее и очищающее действие политической свободы; оно прекращается, если «свобода» становится привилегией...».³⁶ Социализм

³⁵ *Роза Люксембург. Рукопись о русской революции. С. 315.*

³⁶ Там же.

неразрывно связан с осуществлением свободы слова, свободы политической деятельности, свободы создавать независимые политические организации и т. д. Причем, в отличие от буржуазного общества, где эти свободы либо только декларируются, либо предоставляются узкому кругу лиц, в обществе социализма эти свободы наполняются реальным содержанием. Такое понимание точно соответствует пониманию природы социализма у Маркса как того рубежа, где завершается стихийная предыстория человечества и начинается его подлинная история, предполагающая переход из «царства необходимости» в «царство свободы». Учение об органическом единстве диктатуры пролетариата и демократии, о социализме как строе, при котором человек обретает свою человечность, предопределили то обстоятельство, что в более поздних теориях «социализма с человеческим лицом» ссылки на работы Р. Люксембург становятся обязательными. Например, название известной группы марксистов-либертарианцев «Социализм или варварство» (К. Кастиориадис, Ги Дебор, К. Лефор, Ж. Женетт и др.) было связано именно с учением Р. Люксембург о том, что в период первой мировой войны человечество оказалось перед дилеммой: «либо гибель в анархии, либо спасение благодаря социализму».³⁷

Социалистическая демократия, как ее понимает Р. Люксембург, начинается с производственной демократии, и в этом отношении ее концепция диктатуры пролетариата также противостоит концепциям

³⁷ *Роза Люксембург. Наша Программа и политическая ситуация. Доклад на Учредительном съезде Коммунистической партии Германии 31 декабря 1918 г. в Берлине // Роза Люксембург. Актуальные аспекты политической и научной деятельности. С. 263.*

экономического дирижизма, взятым на вооружение большевиками с первых шагов социалистических преобразований. Этот дирижизм Ленин и его единомышленники оправдывали не только необходимостью централизованного руководства крупной машинной индустрией, но и историческими особенностями России, в частности, слабо развитой мотивацией производительного труда («русский человек — плохой работник»). Признавая временную необходимость централизованного руководства промышленностью в России, Р. Люксембург тем не менее убеждена, что «опасность начинается тогда, когда они нужду выдают за добродетель, хотят теперь по всем пунктам теоретически зафиксировать навязанную им этими фатальными условиями тактику и рекомендовать ее международному [пролетариату] как образец социалистической тактики».³⁸ Социализм несовместим с диктатурой фабричных надсмотрщиков, с излишне жестокой производственной дисциплиной, с драконовскими наказаниями и террором. Известно, что Ленин был склонен видеть в формах государственного капитализма довоенной Германии немало положительного: «Пока в Германии революция еще медлит „разродиться“, наша задача — учиться государственному капитализму немцев, всеми силами перенимать его, не жалеть диктаторских приемов для того, чтобы ускорить это перенимание еще больше, чем Петр ускорил перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства».³⁹ Эту склонность Р. Люксем-

³⁸ *Роза Люксембург. О социализме и русской революции.* М., 1991. С. 332.

³⁹ *Ленин В. И. Полн. собр. соч.* Т. 36. С. 301.

бург считает ошибкой, сближающей главу большевиков с германской социал-демократией, полагавшей, что прусский милитаризм установит в случае победы в войне в России порядок, весьма близкий идеалам социализма. Политику «красного террора» она называет «идиотизмом высшей степени».

Попытки установить производственную дисциплину жестокими террористическими методами Р. Люксембург объясняет тем, что лидеры большевиков не понимают природы социалистической демократии. Сам термин «дисциплина» у Ленина приобретает весьма двусмысленное значение. «Одновременно обозначать словом „дисциплина“ два столь противоположных понятия, как отсутствие воли и мысли в тысяченогом и тысячеруком теле, по указке делающем механические движения, и добровольное координирование сознательных политических действий... значит просто злоупотреблять ходячим словечком».⁴⁰ Первое значение слова «дисциплина» должно быть полностью искоренено в обществе социализма, дисциплина должна быть свободной самодисциплиной, добровольной самоорганизацией коллективных действий.

Кроме того, у Ленина и Люксембург были совершенно разные представления и о природе стихийности. Если для Ленина стихийность — это начальная стадия сознательности, недоразвитая сознательность, то для Люксембург — это в первую очередь неосознаваемая сила масс, объективно им свойственная. Эта сила имеет два вектора приложения: во-первых, это та механическая покорность, которая как раз и характе-

⁴⁰ *Роза Люксембург. Организационные вопросы русской социал-демократии // Рабочий класс и современный мир. 1990. № 6. С. 143.*

ризуется «отсутствием воли и мысли в тысяченом и тысячеруком теле»; во-вторых, это объективно свойственная массам воля к борьбе, стихия, несущая в себе колоссальную революционную энергию. Очевидно, что в работах Ленина, особенно в послереволюционных, речь идет главным образом о стихийности в первом значении. Складывается впечатление, что стихия революционной энергии масс была необходима большевикам только до момента завоевания власти. Когда власть была завоевана, на повестке дня оказалась иная задача — удержать эту стихию в повиновении. Характеризуя эту стихию, Р. Люксембург говорит о свойственном ей «здоровом революционном инстинкте», на который необходимо опираться и после завоевания власти, в самых первых и во всех последующих революционных преобразованиях.

Управление промышленностью, как его представляла Р. Люксембург, не имеет ничего общего с дирижизмом. Первые требования программы «Союза Спартака» — введение шестичасового рабочего дня и выборы производственных советов, которые должны взять производственный процесс под свой контроль. Р. Люксембург была убеждена, что социализм только тогда будет прочно держаться на своем собственном фундаменте, когда организация производства будет вверена самим рабочим.

Р. Люксембург могла оценивать только самые первые шаги социалистического строительства в СССР. Но очень скоро после ее смерти наследником ее критических оценок становится Л. Д. Троцкий. Дело не только в том, что он так же, как и Р. Люксембург, связывает успешность этого строительства в Советской России с кардинальным изменением международного положения и с мировой пролетарской революцией.

В идейных столкновениях 20-х годов внутри правящей партии он неоднократно подчеркивает, что занимает ту же самую позицию, что и Р. Люксембург. «Я утверждаю, что никогда не расходился с большевизмом больше, чем Роза Люксембург и Карл Либкнехт — в тех вопросах, в которых и они расходились с большевизмом. Пускай кто-нибудь посмеет сказать, что они были меньшевиками».⁴¹

Следует сказать, что изучение действительной позиции Л. Троцкого по многим вопросам революционной теории марксизма серьезно затруднено своеобразной мифологией «троцкизма», который еще в 20-годы прошлого столетия был создан в качестве идеологического жупела для внутривнутрипартийной борьбы. Созданный тогда образ Троцкого как «демона революции» и сегодня принимается за чистую монету даже многими серьезными исследователями. Троцкий изображается как жестокий диктатор, ответственный за самые кровавые преступления большевизма, а изгнание его из рядов партии связывается, соответственно, с демократизацией и либерализацией государственной и общественной жизни в СССР. Кроме того, Троцкий преподносится как последовательный русофоб, преследовавший и искоренявший все традиционное в культуре и быте русского народа. Чего стоит, например, следующая цитата, имеющая широкое хождение в средствах массовой информации и нередко приводимая даже в работах, претендующих на статус научных исследований: «Мы должны превратить Россию в пустыню, населенную белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым

⁴¹ *Троцкий Л. Д.* Две речи на заседании ЦКК // Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР. Т. 3. М., 1990. С. 120.

страшным деспотам Востока. Разница лишь в том, что тирания эта будет не справа, а слева, не белая, а красная. В буквальном смысле этого слова красная, ибо мы прольем такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие банкиры из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами. Если мы выиграем революцию, раздавим Россию, то на погребальных обломках ее укрепим власть сионизма и станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что такое настоящая власть. Путем террора, кровавых бань мы доведем русскую интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до животного состояния... А пока наши юноши в кожаных куртках — сыновья часовых дел мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы — умеют ненавидеть все русское! С каким наслаждением они физически уничтожают русскую интеллигенцию — офицеров, академиков, писателей...» Разумеется, никто из тех, кто приводит эту цитату, не может указать, из какого произведения или какой речи Троцкого она взята.

Многими до сих пор разделяется и ошибочное представление, что Троцкий, будучи противником сталинского СССР, в предвоенные годы призывал к вооруженной борьбе против Советской России и даже поддерживал контакты с различными фашистскими организациями. Чтобы убедиться, что это по меньшей мере неправда, достаточно ознакомиться со статьей Троцкого «СССР в войне»,⁴² вывод которой заключается в том, что все левые силы должны на время позабыть о своем отрицательном отношении к тоталитар-

⁴² *Троцкий Л. Д. СССР в войне // Антология позднего Троцкого. М., 2007. С. 435–459.*

ному режиму Сталина и в неизбежной войне против Германии встать на защиту СССР. Такая позиция не была уступкой политической конъюнктуре, она являлась логически закономерным следствием его учения о социальной природе советского государства как государства в своей основе рабочего, но находящегося в процессе бюрократического перерождения.

О том, что этот процесс перерождения еще не завершился, свидетельствует еще сохраняющаяся общественная собственность на средства производства и плановая система хозяйства. Явными признаками классового перерождения СССР являются широкие репрессии против коммунистической партии, бюрократизация партийного и государственного аппарата, исключая даже те элементарные демократические завоевания, которые свойственны многим буржуазным государствам, мирный договор с фашистской Германией и многое другое. Но, несмотря на эти искажения, социально-экономические основы социализма, заложенные Октябрьской революцией, еще продолжают сохраняться, и левым силам следует защищать именно эти завоевания, а не сталинскую бюрократию. Решающее значение имеет тот факт, что сама бюрократия, согласно классической марксистской теории, не является самостоятельным классом и выполняет обслуживающие функции для того класса, который занимает господствующее положение. «В бюрократическом перерождении советского государства находят свое выражение не общие законы современного общества от капитализма к социализму, а особое, исключительное и временное преломление этих законов в условиях отсталости революционной страны и капиталистического окружения. Недостаток предметов потребления и всеобщая борьба за обладание ими порождают жан-

дарма, который берет на себя функции распределения. Враждебное давление извне возлагает на жандарма роль защитника страны, придает ему национальный авторитет и позволяет ему грабить страну вдвое. Оба условия могущества бюрократии — отсталость страны и империалистическое окружение — имеют, однако, временный, переходный характер и должны исчезнуть с победой интернациональной революции».⁴³

Именно в этом аспекте Троцким и ставится задача защиты СССР. Главная цель — победа мировой пролетарской революции. Но без победы над фашизмом эта цель не может быть достигнута. «Защита СССР совпадает для нас с подготовкой международной революции. Допустимы только те методы, которые не противоречат интересам революции. Защита СССР относится к международной социалистической революции, как тактическая задача — к стратегической».⁴⁴ Приоритет международной пролетарской революции настолько велик, что даже свое поражение во внутрипартийной борьбе 20-х годов Троцкий предпочитает расценивать как победу, а удержание Сталиным власти — как его поражение. «Сталин оказался, в историческом смысле, жертвой здравого смысла, то есть его недостаточности, ибо та власть, которую он обладает, служит целям, враждебным большевизму. Наоборот, марксистская доктрина позволила нам своевременно оторваться от термидорианской бюрократии и продолжать служить целям международного социализма».⁴⁵ Сохранить власть в СССР Сталин смог только ценой отказа от важнейших прин-

⁴³ Троцкий Л. Д. СССР в войне. С. 441.

⁴⁴ Троцкий Л. Д. В защиту марксизма. Cambridge (MA, USA), 1995. С. 49.

⁴⁵ Троцкий Л. Д. Их мораль и наша // Вопросы философии. 1990. № 5. С. 105—126.

ципов марксистского учения, только ценой предательства пролетарской революции. «Освобождение рабочих может быть только делом самих рабочих. Нет поэтому большего преступления, чем обманывать массы, выдавать поражения за победы, друзей за врагов, подкупать вождей, фабриковать легенды, ставить фальшивые судебные процессы, — словом, делать то, что делают сталинцы. Эти средства могут служить только одной цели: продлить господство клики, уже осужденной историей. Но они не могут служить освобождению масс».⁴⁶

Ключевая ошибка Сталина заключается в непонимании истинной природы пролетарской революции, вследствие чего и возникли абсурдные, не имеющие с точки зрения Троцкого никакого отношения к марксизму теории строительства социализма «в одной стране». Никакая революция «в одной стране» невозможна, так как национальные границы «одной страны» разрушает уже капитализм, и поэтому сам факт перехода власти к пролетарской партии в СССР никак не может означать победу социализма и поражение капитализма. Свое учение о природе пролетарской революции Троцкий называл теорией «перманентной революции». «Перманентная революция в том смысле, какой Маркс дал этому понятию, значит революция, не мирящаяся ни с одной из форм классового господства, не останавливающаяся на демократическом этапе, переходящая к социалистическим мероприятиям и к войне против внешней реакции, революция, каждый последующий этап которой заложен в предыдущем и которая может закончиться лишь с полной ликвидацией классового общества».⁴⁷ Та-

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ *Троцкий Л. Д.* Перманентная революция. Cambridge (MA, USA), 1997. С. 306.

ким образом, «перманентная революция» предполагает три взаимосвязанных аспекта: переход от буржуазно-демократической революции к социалистической; революционные преобразования в рамках одной страны, главная цель которых — обеспечить готовность данной страны к международной пролетарской революции; наконец, самый важный аспект — мировая пролетарская революция. В такой перспективе все рассуждения о преждевременности русской революции представляются Троцкому совершенно противоположными истинному положению дел. «Россия так поздно совершила свою буржуазную революцию, что оказалась вынужденной превратить ее в пролетарскую. Иначе сказать: Россия так отстала от других стран, что ей пришлось, по крайней мере в известных областях, обогнать их».⁴⁸

Оценка опыта социалистических преобразований в СССР будет также зависеть от того, насколько успешной окажется международная революция и насколько неудачными будут попытки капитализма упрочить свое положение и завоевать новые плацдармы развития. Если такие попытки будут неудачными, если положение трудящихся масс будет ухудшаться, то мировая пролетарская революция будет закономерным выходом из кризиса, и опыт СССР, в котором еще не успеет произойти окончательное бюрократическое перерождение рабочего государства, окажется весьма важным как с точки зрения его положительных достижений, так и в отношении сталинских извращений, которые мировой пролетариат сможет адекватно оценить и предотвратить. Если же капитализм получит в свое распоряжение еще несколько десятилетий для возможного развития,

⁴⁸ *Троцкий Л. Д.* История русской революции. В 2-х т. Т. 2. М., 1997. С. 5.

«тогда жалкой пошлостью будут речи о социализме в нашей отсталой стране; тогда надо будет сказать, что мы ошиблись в оценке всей эпохи, как эпохи капиталистического загнивания; тогда Советская республика оказалась бы вторым, после Коммуны, опытом диктатуры пролетариата, более широким и плодотворным, но только опытом... Имеются ли, однако, какие-либо серьезные основания для такой решительной переоценки всей нашей эпохи и смысла Октябрьской революции, как звена международной? Нет!... Завершая, в большей или меньшей степени, свой восстановительный период (после войны)... капиталистические страны восстанавливают, притом в несравненно более остром, чем до войны, виде, все свои старые противоречия, внутренние и международные. Это и есть основа пролетарской революции. То, что мы строим социализм, есть факт. Но не меньшим, а бóльшим фактом, поскольку целое вообще больше части, является подготовка европейской и мировой революции. Часть может победить только совместно с целым».⁴⁹

Следует подчеркнуть, что Троцкий допускал и такой пессимистический вариант мирового развития, когда капитализм не только получит в свое распоряжение несколько десятилетий для возможного развития и смягчения внутренних противоречий, но и нанесет поражение международному пролетариату, в результате чего СССР как рабочее государство погибнет. «Если бы вопреки всем вероятиям в течение нынешней войны или непосредственно после нее Октябрьская революция не нашла своего продолжения ни в одной из передовых стран; если бы, наоборот, пролетариат оказался бы везде и всюду отброшен назад, —

⁴⁹ *Троцкий Л. Д.* Преданная революция. М., 1991. С. 246.

тогда мы несомненно должны были бы поставить вопрос о пересмотре нашей концепции нынешней эпохи и ее движущих сил. Вопрос шел бы при этом не о том, какой школьный ярлычок наклеить на СССР или на сталинскую шайку, а о том, как оценить мировую историческую перспективу ближайших десятилетий, если не столетий: вошли ли мы в эпоху социальной революции и социалистического общества или же в эпоху упадочного общества тоталитарной бюрократии?». ⁵⁰ В такой ситуации вопрос о социалистической революции будет отодвинут на неопределенное время, так как при господстве тоталитарной бюрократии благоприятные условия для социалистической революции, по крайней мере, такие, как в начале XX века, уже не возникнут. Заметим, что после Второй мировой войны, несмотря на образование социалистического лагеря, пролетарские революции в развитых странах так и не произошли. Капитализм открыл новые возможности своего развития, во-первых, благодаря научно-технической революции, позволившей значительно поднять общий уровень жизни населения, во-вторых, благодаря новой социальной политике, направленной на достижение «классового мира», то есть на смягчение внутренних противоречий капиталистической формации, в-третьих, благодаря внедрению в экономический строй элементов планирования, позволивших прогнозировать острые фазы кризисов и своевременно их предотвращать.

Новые возможности развития капитализма значительно, как полагал Троцкий, уменьшают шансы СССР в противостоянии двух мировых систем. В то же время опасность бюрократического перерождения рабочего

⁵⁰ Троцкий Л. Д. В защиту марксизма. С. 43–44.

государства в этих новых условиях только возрастает. «Чем дольше СССР остается в капиталистическом окружении, тем глубже заходит процесс перерождения общественных тканей. Дальнейшая изолированность должна была бы неминуемо завершиться не национальным коммунизмом, а реставрацией капитализма. Если буржуазия не может мирно встать в социалистическую демократию, то и социалистическое государство не может мирно встать в мировую капиталистическую систему».⁵¹ Поражение социалистического государства в противостоянии с мировой системой капитализма может быть обусловлено как внешними, так и внутренними факторами. В первом случае речь может идти как о военном столкновении, так и о «товарной интервенции», о чисто экономических способах разрушения экономической основы существования рабочего государства. Во втором случае бюрократическое перерождение СССР может пойти настолько далеко, что сделает возможным внутренний контрреволюционный переворот. «Бюрократия не господствующий класс. Но дальнейшее развитие бюрократического режима может привести к возникновению нового господствующего класса: не органическим путем перерождения, а через контрреволюцию. Именно потому мы называем сталинский режим центристским, что он выполняет двойственную роль: сегодня, когда уже нет или еще нет марксистского руководства, он защищает своими методами пролетарскую диктатуру; но методы эти таковы, что облегчают завтрашнюю победу врага. Кто не понял этой двойственной роли сталинизма в СССР, тот не понял ничего».⁵²

⁵¹ *Троцкий Л. Д.* Преданная революция. С. 249.

⁵² *Троцкий Л. Д.* Классовая природа советского государства. 1 октября 1932 г. // Бюллетень оппозиции. 1933. № 36–37. С. 41.

Таким образом, можно констатировать, что Троцкий сумел не только дать критическую оценку первых шагов социалистического строительства в СССР, но и сумел предвидеть многие из проблем, возникших после второй мировой войны в противостоянии систем капитализма и социализма, а также указать на внешние и внутренние опасности, способные привести к уничтожению первого пролетарского государства.

1.3. Превращение марксизма в идеологию

Исторические судьбы социализма в СССР складывались так, что вскоре после первых его шагов свободная критическая оценка приобретенного на этой ниве опыта — будь это критика «справа», или критика «слева» — оказалась невозможной. Аналогичная ситуация складывалась в это же время и в Германии, Венгрии, Италии и других странах, где марксизм играл заметную роль в идейной полемике. Так, например, «Грамши весьма часто приходилось отказываться от общепринятых марксистских терминов, заменять их условными выражениями, такими, как философия практики (исторический материализм, марксизм), elite, «современный государь» (партия), социальная группа (класс), государство-сила (диктатура пролетариата) и т. п., порой даже заменять имена описательными псевдонимами».⁵³

Но отсутствие возможности свободных дискуссий не могло заглушить чувства явной неразумности складывавшейся советской действительности. В СССР так-

⁵³ *Грамши А.* Тюремные тетради // *Грамши А.* Избранные произведения. В 3-х т. Т. 3. М., 1959. С. 6.

же стал формироваться язык «условных выражений», на котором, в частности, марксистская догматическая философия стала именоваться «вульгарным социологизмом». В 20-е и 30-е годы этот термин гарантировал безошибочную навигацию в мире идей, так как ни о какой «не вульгарной» социологии речи быть вообще не могло. Самыми известными борцами против вульгарного социологизма были, по общему признанию, Г. Лукач и М. А. Лифшиц, позиция которых была предопределена: понимая, что в утверждающихся идеологических формах вульгарный социологизм неизбежно оказывается тождественным любой отклоняющейся от марксистского догматизма социальной теории, они пытались опередить само отклонение, подвергая критике само существо социальной догматики. Но область знаний, где они осуществляли подобные операции, уже исключала из себя непосредственный предмет социально-политической рефлексии и ограничивалась главным образом проблемами эстетики и искусства. Сложилась ситуация, которую и несколькими десятилетиями позже многие осознавали как неизбежную: «мы ... полагали, что „мировой дух“ давно уже покинул нашу философию. А если он где и присутствует — то в эстетике, где можно было более свободно толковать марксистские понятия. Что-то сделать в философии, как тогда казалось, можно было, лишь не затрагивая впрямую ее официальных догм».⁵⁴

Период превращения марксизма в государственную идеологию предполагал специальную работу по систематизации идей Маркса и Энгельса, которая

⁵⁴ «Дух мировой тогда осел в эстетике» (Интервью с Ю. Н. Давыдовым) // Давыдов Ю. Н. Труд и искусство: Избранные соч. М., 2008. С. 17.

проводилась не только в самом СССР, но и усилиями журналистов, идеологов и теоретиков рабочих партий Европы. В каком-то отношении эта работа была продолжением того, что начиная с конца 1890-х годов уже делали Ф. Энгельс, К. Каутский, Э. Бернштейн, П. Лафарг и другие. Но многие из этих ранних систематизаторов в 20-е годы уже зарекомендовали себя в СССР как правые оппортунисты, как сторонники представлений о преждевременности Октябрьской революции и поэтому критически настроенные по отношению ко всему тому, что за ней последовало. В то же время, как мы показали в первом разделе нашей работы, формирование «ортодоксального» марксизма в СССР совпало по времени с поворотом в политике правящей партии в сторону социал-реформизма, получившего название «новой экономической политики». Поэтому систематизация марксизма сохраняет общий ориентир на редукционистский схематизм, выразившийся прежде всего в «пятичленке», учении о пяти общественно-экономических формациях, и на «экономический материализм», отождествлявший общественное бытие со способом производства и господствующими экономическими отношениями.

Важно отметить то обстоятельство, что учреждения, на которые руководством партии возлагалась работа по систематизации марксизма, в 20-е годы активно сотрудничают с зарубежными организациями. Наиболее показательный пример — взаимодействие Института Маркса и Энгельса под руководством Д. Б. Рязанова в Москве и знаменитого Института социальных исследований во Франкфурте-на-Майне, вначале возглавлявшегося К. Грюнбергом, а затем М. Хоркхаймером, института, вокруг которого сформировалось одной из наиболее авторитетных течений

неомарксизма, получившее название «франкфуртской школы».

Превращение марксизма в идеологию с самого начала понималось двояко — во-первых, как решение задач чисто апологетического характера, как оправдание и обоснование действий правящего класса, какими бы они ни были, а во-вторых, как разработка определенного набора методологических установок, позволявших «специалистам по марксизму» выступать в роли идеологических надсмотрщиков в области естествознания и гуманитарных наук. Соответственно те, за кем осуществлялся надсмотр, должны были эти установки осваивать и эффективно применять их в своих научных исследованиях. Эта идеологическая функция очень скоро начинает представляться чем-то настолько самоочевидным, что никто и не вспоминает, что сами Маркс и Энгельс слово «идеология» употребляли исключительно в негативном смысле, обозначая им форму ложного сознания, искажающего реальность в соответствии с классовыми, сословными и групповыми интересами. И если первая — апологетическая — задача еще в какой-то мере допускала обращение к «полезной лжи» марксизма как идеологии, то вторая — методологическая — в корне такому обращению противоречила. Но процесс превращения марксизма в идеологию имел непреложно универсальный характер, и эти, казалось бы, явные несурзности оставались незамеченными.

В то же время относительно легко был достигнут консенсус относительно того, что именно в этой новой идеологической форме должно быть приято в качестве безусловных принципов. Во-первых, это представление о закономерной и неизбежной смене капитализма новым бесклассовым строем, основанным на отсутствии частной собственности. Во-вторых, пред-

ставление, что такого рода смена капитализма социализмом может произойти только путем революции, в которой ведущую роль должен играть пролетариат. В-третьих, представление, что политический режим, в рамках которого пролетариат берет власть в свои руки и осуществляет социалистические преобразования, может быть только диктатурой пролетариата. В-четвертых, обязательными оказывались некоторые признаки грядущего коммунистического общества — его бесклассовый характер, отмирание государства, господство общественной собственности, принцип распределения благ по труду, социальное равенство и т. д. Методологический аспект марксизма как идеологии предполагал материализм и диалектику в качестве неоспоримых принципов естествознания, материалистическое понимание истории, классовый подход и сведение всего многообразия явлений общественной жизни к их экономическим основаниям — в качестве принципов наук об обществе и человеке.

Параллельно этому идеологическому окостенению марксизма происходит зарождение и формирование довольно сложного комплекса идей, основанного на акцентировании идей историзма и подчеркивании связи марксистской теории с идейным наследием Гегеля. В развитой форме этот комплекс идей, собственно говоря, и принято называть «неомарксизмом», который, разумеется, пока еще, в 20-е годы, не имел в своем распоряжении концепций отчуждения, тотальности и некоторых других теоретических конструктов, с которыми в наше время это течение связывается в первую очередь. Но «неомарксизм» закономерно возникает в противостоянии процессу превращения марксистской теории в идеологию, и совершенно неслучайно его зарождение, связанное с именами Г. Лукача и

М. А. Лифшица, географически происходит именно в СССР. Тематизированный ими объект критики — вульгарный социологизм — по своей сути ничем не отличался от официальной идеологической трактовки материалистического понимания истории, сводившейся к элементарному экономическому редукционизму: «Материалистическое понимание истории вполне оправдывает свое название именно тем, что все разнообразие развития общественных форм выводит прежде всего из происхождения человека от животного, из того, что главной движущей силой его развития является эволюция материальных орудий труда, под влиянием окружающей материальной природы, для удовлетворения материальных потребностей, что, следовательно, развитие производительных сил есть главная движущая пружина и что от этого развития производительных сил в первую очередь зависит на каждой данной ступени развитие формы связи и общественных отношений людей между собой, — то, что Маркс назвал производственными отношениями».⁵⁵ Важной предпосылкой формирования оппозиции официальному догматизму и вульгарному социологизму служил тот факт, что Институт Маркса и Энгельса, где работали Г. Лукач и М. А. Лифшиц, занимался не только изданием и комментированием трудов Маркса и Энгельса, как и других классиков социалистической мысли, но и научными исследованиями. Институт выпускал в свет свои периодические издания, «Летописи марксизма», «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», где публиковались ранее неизвестные тексты, неизбежно вносявшие коррективы в сложившееся представле-

⁵⁵ Горев Б. И. Очерки исторического материализма. Харьков, 1925. С. 101.

ние о марксистской теории. Так, в результате уже упоминавшегося сотрудничества Института Маркса и Энгельса с Институтом социальных исследований во Франкфурте-на-Майне появились на свет знаменитые «Экономическо-философские рукописи 1844 года», которым было суждено оказать решающее влияние на дальнейшее развитие марксизма.

Общее представление о превращении марксизма в идеологию было бы неточным, если его изображать исключительно в черно-белых тонах, разбивая всех участников этого процесса на сторонников и противников идеологизации марксистской теории, на «догматиков» и противников догматизма, критикующих его под видом вульгарного социологизма. Реальная история гораздо сложнее, и многие ученые 20-го годов, как в области естествознания, так и в гуманитарных науках, пытались избежать противостояния и находили различные формы компромиссных решений. Так, например, признавая руководящую роль марксистского метода, Л. С. Выготский считал необходимым различать «панцирную» и «позвоночную» методологии: «Можно искать у учителей марксизма не решение вопроса, даже не рабочую гипотезу (потому что они создаются на почве данной науки), а метод ее построения. Я не хочу узнать на дармовщинку, скроив пару цитат, что такое психика, я хочу научиться на всем методе Маркса, как строят науку, как подойти к исследованию психики... Не случайные высказывания нужны, а метод».⁵⁶ С марксизмом Л. С. Выготский вполне искренне связывал возможность выйти из того кризиса,

⁵⁶ *Выготский Л. С. Исторический смысл психологического кризиса // Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6-ти т. Т. 1. М., 1982. С. 421.*

в котором оказалась психологическая наука в начале XX столетия.

Некоторые ученые-гуманитарии хотя и не возлагали на применение марксистского метода столь радужных надежд, но полагали, что внешние признаки ритуальной приверженности марксистской идеологии не смогут помешать исследованиям, например, историко-философского характера, где сам предмет изучения должен быть, как они полагали, свободен от идеологических оценок. Самый известный пример такой позиции — это труды В. Ф. Асмуса, на протяжении многих десятилетий считавшиеся образцом академического объективизма и высочайшей исследовательской культуры. Вместе с тем самой интересной работой В. Ф. Асмуса, наиболее откровенно выражающей его убеждения, является его первая книга «Очерки диалектики в новой философии»,⁵⁷ написанная под явным влиянием Г. Лукача и его книги «История и классовое сознание». Видимо, сложившаяся ситуация оценивалась самим Асмусом как временная, и он считал возможным, не меняя своих убеждений, ускользнуть от идеологических требований обязательного следования марксистскому методу, избрав такой предмет исследований — историю философии — который будет в силу своей специфики надежно защищен от идеологических посягательств. Проще говоря, воспринимая проводников идеологической деформации марксизма как людей недалеких и малообразованных, Асмус и его единомышленники были уверены, что у надсмотрщиков от идеологии не хватит ума и компетенции вмешиваться в исследования столь сложного

⁵⁷ Асмус В. Ф. Очерки диалектики в новой философии. Киев, 1924.

предмета, а потребность в его изучении тем не менее будет сохраняться и, возможно, даже расти. Ту же позицию можно обнаружить в работах грузинских ученых-гуманитариев, поддерживавших связи с академическим миром Германии.⁵⁸

Очевидно, что вполне определенную связь с идеологизацией марксизма имеет хорошо известная проблема «девтороканонического» Бахтина, или, как эту же проблему называют иными словами, «Бахтина под маской». Речь идет о работах В. Н. Волошинова «Фрейдизм» и «Марксизм и философия языка», о работе П. Н. Медведева «Формальный метод в литературоведении» и ряде статей, подписанных этими же авторами, а также И. И. Канаевым.⁵⁹ Авторство этих работ, как филологическая проблема, предполагающая текстологический анализ, считается неразрешимой загадкой, если не допустить, что при создании этих работ сам Бахтин сознательно отошел от современного понимания авторства. Намеренно привнося в процесс публичной репрезентации своих текстов элемент игры, карнавала, Бахтин возвращал проблеме авторства ее «до-современное» значение. И если учесть, что диалог привлекал его и с содержательной, и с формальной стороны, то, возможно, небезосновательной окажется гипотеза об особом внимании Бахтина к диалогам Платона. Вопрос о том, кто является автором философского учения, излагаемого в этих диалогах, должен, строго говоря, оставаться открытым, так как, если подойти к

⁵⁸ См. например. *Бакрадзе К. С.* Проблема диалектики в немецкой философии. Тбилиси, 1929; *Нуцубидзе Ш. З.* Введение в философию. Тбилиси, 1920; *Нуцубидзе Ш. З.* Основы алетологии. Тбилиси, 1922; *Узнадзе Д. Н.* Основы экспериментальной психологии. Т. I. Тбилиси, 1925.

⁵⁹ *Бахтин М. М.* Тетралогия. М., 1998.

проблеме не с историко-философской точки зрения, а с точки зрения филологии и исходить исключительно из имеющихся в нашем распоряжении текстов, то никакой «философии Платона» мы не обнаруживаем, и Платон предстает только как автор, записавший диалоги своего учителя. Но если исходить из историко-культурного контекста, а не из текста, то мы получаем зеркально противоположную ситуацию, так как единого образа Сократа в дошедших до нас источниках нет, Аристофан отождествляет его с софистами, и поэтому вполне допустимо предположить, что Сократ является вымышленным героем диалогов Платона, в уста которого Платон вкладывает свои самые сокровенные мысли, тем более что и сам Сократ, настаивая на «ученом незнании», отрицает, что обладает каким-либо учением, содержащим истину. Майевтика Бахтина, как и диалектика Сократа, предполагала, что «другие, для которых моя мысль впервые становится действительной мыслью (и лишь тем самым и для меня самого), не пассивные слушатели, а активные участники речевого общения».⁶⁰ Более того, «событие жизни текста, то есть его подлинная сущность, всегда развивается на рубеже двух сознаний, двух субъектов».⁶¹ Поэтому тексты «Бахтина под маской» являются реализацией одной из сторон его мышления, а выбор их авторов представляет собой чисто формальную процедуру. В то же время, нельзя исключать, что проблема «Бахтина под маской» была связана и с проблемой ответственности, в том числе и политического характера. «Чтобы уяснить это, необходимо рассмотреть тему авторства...

⁶⁰ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 275.

⁶¹ Там же. С. 285.

в свете фундаментального вопроса о генезисе в рамках экзотерической духовной традиции (религиозной, интеллектуальной, художественной, идеологической) мыслительной эзотерики. Такой эзотерики, которая не порывает с экзотерической традицией, а трактует ее, прежде всего ее язык, как необходимую профанную ступень в прояснении внутрисущего этой традиции, хотя и потаенного, верховного знания. Парадоксальным (для новоевропейского сознания) следствием такого эзотеризма нередко выступала анонимность его родоначальников, сознательное ступшевывание авторов входящих в его „золотой запас“ произведениях. Одним из самых замечательных примеров такого сокровенного эзотерического авторства является гениальный создатель так называемого Ареопагитского корпуса (4 трактата и 10 посланий), укрывшийся под псевдонимом Дионисия Ареопагита... Суть, однако, в том, что историко-культурная ситуация Бахтина и его школы в рамках марксистской традиции после установления в 1924—1925 годах в РКП(б) и во всех партиях III Интернационала ленинского канона марксизма (канона вульгарного ленинизма) была типологически сходна с ситуацией Псевдо-Дионисия в рамках послеканонной христианской традиции. На нее наложились нежелание ряда марксистски ориентированных интеллектуалов Советской России и Запада порывать с марксизмом как жизненным элементом левого существования. Именно эта ситуация породила феномен, избирательно сродный с эзотеризмом Псевдо-Дионисия. Я имею в виду эзотерический марксизм 20-х годов, каким он предстал в нашей стране в работах Бахтина и его школы, а также В. Асмуса, Н. Берковского, Л. Выготского и его школы, М. Лифшица и „Литературного критика“, А. Неусыхина. На Западе в работах Г. Лукача, К. Корша, А. Грам-

ши, А. Паннекука, М. Хоркхаймера и Франкфуртской школы. Именно с этого момента марксистский эзотеризм приобретает черты, свойственные всякому эзотеризму: это темнота, пренебрежение внешней систематичностью ради нелинейной логики мыслительных обрывов и фрагментаций; предпочтение, оказываемое амбивалентности изречения перед однозначностью развернутого высказывания; постоянное упование на „мудрость языка“, на корнесловие и имяславие; приурочивание смысла не столько к речи, сколько к дискурсу молчания».⁶²

Тот факт, что избираемые в СССР способы противостояния идеологизации марксизма не были случайной находкой, а органически выросли из самого существа аутентичной марксистской теории, подтверждается случаями параллелизма теоретических открытий. Так, например, синтетическая теория искусства И. И. Иоффе⁶³ и концепция искусства, изложенная В. Беньямином в работе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости», приходили к одним и тем же выводам. И Иоффе, и Беньямин были и последовательными марксистами и сторонниками «синтетических» методов исследования. В их концепциях все феномены культуры не только обнаруживали свою социально-экономическую обусловленность, но представляли элементами единой формации. Географические открытия, естественнонаучные опыты, новые промышленные технологии, меняющиеся способы коммуникаций, археологические артефакты по-

⁶² *Земляной С.* Что такое эзотерический марксизм? // Независимая газета. Приложение «Книжное обозрение „Ex libris НГ“». 1999. 28 янв. (N 3). С. 3.

⁶³ *Иоффе И. А.* Избранное. Синтетическая теория искусств. Культура и стиль. М., 2010.

нимаются ими как моменты единого эволюционного процесса. Искусство рассматривается как одна из социальных практик и изучается только в связи с другими. И. А. Иоффе многие художественные феномены объяснял недостаточностью развития производительных сил и полагал, что большинство традиционных сюжетов в искусстве обретет новый импульс развития благодаря пролетариату, в силу чего подлинная история искусства еще ожидает своего начала. Он считал, что эпоха господства слова в искусстве закончилась, и дальнейшее художественное развитие человечества будет связано с новым синтетическим искусством — кинематографом. Кино преодолевает национальные барьеры, оно демократизирует культуру. Кино олицетворяет собой переход от храма к рынку, оно упраздняет искусство для избранных и превращает его в функцию товарно-денежных отношений. В СССР многие из идей И. И. Иоффе были незаслуженно забыты, и отечественный читатель познакомился с ними только тогда, когда были переведены работы В. Бенямина.

Еще одна форма адаптации — попытка выдать уже получившие на Западе признание концепции за новое слово в марксистской теории. Наиболее яркой попыткой была работа медиевиста А. И. Неусыхина о М. Вебере, публиковавшаяся в журнале «Под знаменем марксизма» в 20-е годы.⁶⁴ В этой работе А. И. Неусыхин пытался максимально приблизить эмпирический и типологический подход М. Вебера к марксистскому анализу закономерностей общественного развития.

⁶⁴ *Неусыхин А. И.* «Эмпирическая социология» Макса Вебера и логика исторической науки // Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 619—691; См. также: *Неусыхин А. И.* Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI—VIII вв. М., 1956.

При этом в основе такого сближения вовсе не лежало стремление оправдать М. Вебера перед лицом идеологических требований марксизма. А. И. Неусыхин был искренне убежден, что марксизм предполагает подлинный научный подход, открытый для любых новаций в области социально-гуманитарного познания.

В последующие десятилетия эти и многие другие способы адаптации научно-теоретического дискурса к идеологическим требованиям правящего класса были взяты на вооружение интеллектуалами СССР и использовались не только ради достижения какого-либо возможного эвристического эффекта, но и для этического обоснования своего частичного конформизма. Имена ученых-гуманитариев 20-х годов стали образцом для подражания для многих поколений советских исследователей. В то же время эти способы адаптации играли и отрицательную роль, поскольку служили оправданию, пусть даже и частичному, той ситуации, когда интеллектуальная свобода была уже невозможна.

Характерно, что многие из упомянутых выше ученых-гуманитариев (М. М. Бахтин, И. А. Иоффе, Г. Лукач, М. А. Лифшиц и др.) «инстинктивно» ограничивали область своих исследовательских интересов эстетикой и искусством. С одной стороны, эта область виделась относительно свободной от идеологического диктата, или по крайней мере такой областью действительности, где установление бесспорных идеологических догм будет по объективным причинам на некоторое время отсрочено. С другой стороны, идеологизация марксизма закономерно обретала тотальный характер, и 30-е годы становятся десятилетием интенсивной политизации сферы эстетического. В СССР институт искусства оказывается в положении непреложной зависимости от политических

инстанций. Власть с самого начала ясно представляла себе перспективу отношений политики и искусства: «Для нас вопрос о литературе есть на три четверти вопрос о литературной политике, о деятельности нашего класса как сознательной, организованной силы в области литературы, для того чтобы использовать этот социальный фактор».⁶⁵ Оставляемая эстетической сфере четверть свободы предполагала, что художник сознательно избирает положение изгоя, а к концу десятилетия могла автоматически повлечь за собой статус «врага народа». «Вульгарный социологизм» в эстетической сфере означал классовый подход, влекущий за собой социальную дискриминацию и обязательное разделение на «бывших», «попутчиков», «социально близких» и т. д. Уже в силу этого борьба с «вульгарным социологизмом», пусть даже и ведущаяся с позиций официальной ортодоксии, заслуживает самого серьезного внимания.

Справедливости ради следует признать, что далеко не все участники идейной борьбы 30-х годов могли видеть в догматизме Г. Лукача и его единомышленников вынужденную форму. «Сталину надо было повернуть от беспощадной классовой борьбы к единому антифашистскому фронту. Теоретика среди кадров не было. А про себя Сталин, видимо, тогда еще понимал, что теория — не его ремесло. И вот он предоставил Лукачу и Лифшицу завязать открытую дискуссию с марксистской социологией 20-х годов. С 1934 по 1937 год, пока палачи раздавливали пальцы и сажали задом на ножку табуретки, шла свободная дискуссия,

⁶⁵ Заключительное слово А. В. Луначарского на семинаре Института красной профессуры 5 июня 1930 г. // Контекст. 1972: Литературно-теоретические исследования. М., 1973. С. 324.

показывая всему передовому миру, что за собственные мнения у нас не сажают. Лифшица и его учеников действительно не велено было сажать...». ⁶⁶ Но, очевидно, что в основе такого предположения лежит явная «демонизация» образа Сталина, который, как и его советники по вопросам идеологии, вряд ли был способен на такие хитроумные интриги в мире идей. К тому же с точки зрения «вульгарного социологизма» происхождение Лукача, выходца из семьи, принадлежавшей к финансовой и банковской элите, не оставляло сомнений в его врожденной враждебности делу социализма.

Таким образом, наряду с вышеперечисленными способами адаптации научно-теоретического дискурса к меняющейся ситуации формируется еще один, который условно можно назвать «криптоэстетикой», так как под видом решения такой, казалось бы, важной с точки зрения становления марксистской догматики задачи, как создание новой канонической эстетики на самом деле осуществляется довольно эффективное противостояние набирающим силу процессам идеологизации. Тот факт, что содержание борьбы с «вульгарным социологизмом» не сводилось к чисто догматическим задачам, подтверждается и закономерным предвосхищением единомышленниками Лукача более позднего решения многих проблем в западноевропейском неомарксизме.

Но первая критика социологизма в эстетике была связана с именем А. Воронского, редактора авторитетного журнала «Красная новь». В отличие от сторонников классового подхода к искусству, усматривавших в специфике художественного произведения выраже-

⁶⁶ Померанц Г. Записки гадкого утенка. М., 2003. С. 43.

ние определенной социально-политической позиции, авторы «Красной нови» утверждали, что искусство прежде всего является формой познания действительности. Сторонники последней точки зрения, объединившиеся в группу «Перевал», разумеется, не могли прямо отвергать идеологическую и классовую природу искусства, но были убеждены, что эти аспекты в художественном произведении являются второстепенными, а искусство представляет собой способ познания жизни, своеобразный с точки зрения его формы, но такой же точный, объективный, как и тот, каким пользуется наука. «Литература и искусство бесспорно служат тому или иному классу в обществе, разделенному на таковые. Но отсюда никоим образом не следует, что данные, добытые в результате художественного опыта, лишены объективной ценности».⁶⁷ Искусство есть результат творчества художника, предполагающего и отражение, и выражение, и познание действительности, и ее оценку с точки зрения идеала. Непосредственный практический вывод, следовавший из такого рода позиции, — бережное отношение нового общества к художественному наследию прошлого, подразумевавшее экстраполяцию такого отношения на всю культуру прежней, до-социалистической России, и изображавшееся поэтому противниками группы «Перевал» как архаичный консерватизм, граничащий с монархизмом и черносотенством.

Противникам «перевальцев» было непонятно, каким образом человек, сознание которого полностью определено идеологическими, политическими и классовыми факторами, способен к объективному понима-

⁶⁷ *Воронский А.* Искусство как познание жизни и современность. Иваново-Вознесенск, 1924. С. 30.

нию мира. Из этого непонимания закономерно выросло не только представление о безусловной классовой природе искусства, но и более робкие попытки создать «пролетарскую» науку, например «диалектическую математику», не говоря уже о партийности и классовости философии. Тезис о том, что искусство является способом познания действительности, объявлялся прямо враждебным «учению марксизма о том, что сущность человека есть совокупность общественных отношений, и весь мир существует для него только как для члена класса».⁶⁸ Следует отметить, что подобная позиция, выражающая самую сущность «вульгарного социологизма», получила широкое распространение не только в официальном «советском» марксизме, но и в западноевропейской социальной теории вообще. Термин «вульгарный» к этой позиции может применяться вполне правомерно, так как подобно тому, как физиологи времен тургеневского Базарова утверждали, что «мозг выделяет мысль так же, как печень выделяет желчь», то есть, иными словами, утверждали, что мыслит мозг человека, а не сам человек, подобно этому и социологи времен Воронского полагали, что мыслит не человек, а то место, которое он занимает в обществе, его имущественное и политическое положение, его роль в межличностных отношениях и т. д. Сознание полностью ограничено социально-классовой клеткой, в которую заключен человек. Выступая против такого ограничения, Воронский и его единомышленники в лице Г. Лукача, М. А. Лифшица и других вполне обоснованно обращались к учению Маркса о «свободном духовном производстве», которое как раз и выража-

⁶⁸ Фриче В. М. Воронский // Литературная энциклопедия. Т. 2. М., 1930. С. 316.

ется в том, что художнику и мыслителю (художнику, возможно, даже чаще, чем мыслителю) удастся преодолеть социально-классовую ограниченность своего положения и открыть для себя доступ к объективной истине. Согласно Марксу, тот, кто «рассматривает само материальное производство не *исторически*, рассматривает его как производство материальных благ вообще, а не как определенную, исторически развившуюся и специфическую форму этого производства, то этим он сам лишает себя той основы, на которой только и возможно понять как идеологические составные части господствующего класса, так и свободное духовное производство данной общественной формации. Он не в состоянии выйти за пределы общих, бессодержательных фраз». ⁶⁹ Поэтому отрицание свободного духовного производства, сведение всех его форм к «идеологическим составным частям господствующего класса» основывается в конечном счете на абстрактном, неисторическом, то есть не-марксистском представлении о материальном производстве.

Такое отрицание свободного духовного производства, даже самой его возможности, было характерно и для критиков «Перевала». Классическое искусство отвергалось как искусство предшествующих общественно-экономических формаций, а те художники, которые стремились продолжать традиции классики, объявлялись врагами нового строя. Все представители и идеологи авангардистских течений в искусстве 20-х годов (ЛЕФ, Пролеткульт, журнал «На посту», РАПП во главе с Л. Авербахом, родственником, что немаловажно, и Я. М. Свердлов и руководителя ОГПУ

⁶⁹ *Маркс К.* Теории прибавочной стоимости // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. 1. С. 280

Г. Ягоды) объединились на почве общего для них неприятия классического искусства и творчества тех современников, которые продолжали его традиции, так называемых «попутчиков», которым именно «Красная новь» Воронского предоставляла возможность публиковаться.⁷⁰ Кроме того, объявляя искусство средством выражения революционных настроений, противники «Перевала» возлагали на художника задачу возбуждения соответствующих чувств. Восприятие художественного произведения сводилось к внушению, к манипуляции, что в целом соответствовало задачам и целям формирующейся государственной идеологии сталинизма. Цель художественного творчества — служение своему классу, и это служение должно быть осознанным, целенаправленным и даже планомерным. Понятия таланта, гениальности, творческой интуиции объявлялись устаревшими, им на смену должно было прийти творчество по заранее составленному и одобренному плану. Подобного рода идеи были близки, например, В. Беньямину, поставившему перед собой задачу сформулировать «положения, касающиеся тенденций развития искусства в условиях существующих производственных отношений. Их диалектика проявляется в надстройке не менее ясно, чем в экономике. Поэтому было бы ошибкой недооценивать значение этих тезисов для политической борьбы. Они отбрасывают ряд устаревших понятий — таких как творчество и гениальность, вечная ценность и таинство, — неконтролируемое использование которых (а в настоящее время контроль осуществим с трудом) ведет к интерпретации фактов в фашистском духе. Вводимые далее

⁷⁰ См.: *Магуайр Р.* Красная новь. Советская литература в 1920-х гг. (Современная западная русистика. Т. 50). СПб., 2004.

в теорию искусства новые понятия отличаются от более привычных тем, что использовать их для фашистских целей совершенно невозможно. Однако они пригодны для формулирования революционных требований в культурной политике». ⁷¹ Очевидно, что В. Беньямин предельно обостряет противопоставление двух точек зрения на природу искусства, и сторонники классического искусства у него оказываются сторонниками фашизма. Но в целом поставленная перед собой В. Беньямином задача кардинальной перестройки теории искусства совпадает с высказанным ранее стремлением «подойти к искусству как к социально-трудовой деятельности, как к специфической отрасли общественно полезного труда со своей техникой, экономикой, идеологией». ⁷²

С такой точки зрения ремесло художника мало чем отличается от ремесла сапожника или столяра, а почетные звания «жреца» или «пророка», к которым привыкли художники, должны остаться в прошлом вместе с другими чинами сословия духовенства. Если задачей художника является не открытие истины средствами эстетического познания действительности, а целенаправленное формирование душевного мира своего читателя или зрителя, то искренность и честность художника оказываются второстепенными, а то и совершенно бесполезными качествами. Теоретики нового искусства доказывали «что совершенно неважно, насколько «искренно» или художественно совершенно то или иное произведение, но оно ничего не стоит, если в нем содержится материал, вредный для

⁷¹ *Беньямин В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996. С. 16.

⁷² *Арватов Б.* Социологическая поэтика. М., 1928. С. 71.

дела пролетариата».⁷³ Художник вовсе не обязан показывать темные стороны действительности, более того, в перспективе общего дела социалистического строительства такое его обращение к изнанке жизненных явлений может приносить только вред. И поскольку, как мы показали выше, такая точка зрения разделялась большинством литературных объединений 20-х годов, то фактически только одна группа «Перевал» и допускала критическое отношение к опыту строительства социализма в СССР. Учитывая, что политическая критика этого опыта была к тому времени уже невозможна, то критика художественными средствами оставалась единственно возможной.

Но если в самом СССР вопрос о допустимости художественной критики действительности обсуждался, главным образом, на уровне литературных споров, то более серьезная теоретическая дискуссия по этому вопросу разворачивается в начале 30-х годов среди западноевропейских марксистов. Фактически именно этот вопрос оказывается в центре полемики между Г. Лукачем и Б. Брехтом.⁷⁴ В 1931—1933 годах в журнале «Левый поворот» Г. Лукач публикует серию критических статей, прямо или косвенно направленных против того понимания природы искусства, которое разделялось Б. Брехтом и его единомышленниками. Уже в послевоенные годы стали доступны рукописи и дневники Б. Брехта, в которых содержались наброски к ответам на критические выпады Г. Лукача. Хотя внешним поводом для дискуссии послужила марксистская интерпре-

⁷³ *Магуайр Р.* Красная новь. Советская литература в 1920-х гг. С. 162.

⁷⁴ См. *Земляной С.* Лукач и Брехт как советские писатели, или левая эстетическая теория о мимезисе и катарсисе // Независимая газета. 14 ноября 2002 г. С. 7.

тация концепции искусства Аристотеля, понятно тем не менее, что поскольку в аристотелевской концепции главную роль играет категория мимезиса, подражания искусства жизни, то действительной темой обсуждения оказывался вопрос о природе реализма в искусстве и об обязанности художника воспроизводить жизнь в ее истинной форме, такой, как она есть, со всеми ее положительными и отрицательными сторонами. Противоречивость действительности предполагает, что высшей художественной формой познания является трагическое искусство. Позиция Брехта была близка позиции противников «Перевала», так как он настаивал на праве социалистического искусства обращаться к новым формам, потому что новая действительность требует и новых форм выражения. Произведение искусства мыслилось Брехтом не как воспроизведение действительности, а как монтажная конструкция, создаваемая с ясно осознаваемой целью.

Сущность концепции Г. Лукача сводилась к тому, что все подлинное искусство должно быть реалистическим, и именно реализм и представляет собой природу искусства как такового. В этом отношении Г. Лукач и его единомышленники, группировавшиеся в 30-х годах вокруг журнала «Литературный критик», должны рассматриваться как наследники и продолжатели группы «Перевал». История «Литературного критика», или «течения», во главе которого находились Г. Лукач и М. А. Лифшиц, уже обстоятельно описана в исследовательской литературе.⁷⁵ Вопросы, обсуждавшиеся «течением», охватывают широкий круг

⁷⁵ См., например: *Галушкин А.* Андрей Платонов — И. В. Сталин — «Литературный критик» // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. 2000. С. 98—104.

действительности, и хотя непосредственно они были связаны с литературной советской жизнью тех лет, на самом деле это были вопросы самой жизни в СССР 30-х годов, рассматриваемые сквозь призму эстетических и художественных проблем. Так, например, закономерно возникавшие в борьбе с «вульгарным социологизмом» и «формализмом» проблемы реализма и мировоззрения художника легко могли быть экстраполированы на действительность в целом, в результате чего превращались в проблему мировоззрения как такового. Если художник, обладая консервативным или каким-либо иным непролетарским мировоззрением, может тем не менее достичь художественных высот и принести тем самым неоценимый вклад в общественное развитие, то и самый обычный человек, разделяя идеалы социализма, своим самым обычным трудом может вполне оправдать свое существование, не исчерпываемое статусом «лишенца» или «попутчика». Обсуждавшиеся на страницах «Литературного критика» проблемы, связанные с местом советского искусства в современной мировой культуре и истории (темы борьбы с декадансом, «модернизмом» и т. д.), могли быть истолкованы в более широком смысле — как проблемы преемственной связи советской действительности с мировым историческим процессом, в том числе и с дореволюционной русской историей, которая, таким образом, оказывалась не противоположностью современному состоянию, а его необходимой предпосылкой.

Последнее особенно важно, так как советский исторический опыт располагался в перспективе проблематики модерна, «проекта Просвещения». Социалистическое строительство предполагалось рассматривать не как уникальный проект, не имевший аналогов

в прежней истории, а как «советскую» версию воплощения проекта модернизации. Такой подход давал исследователю уже апробированный методологический инструментарий, позволявший изучать события послереволюционной истории СССР по аналогии с иными попытками воплощения проекта модернизации. Так, внутри «течения» роль такого инструментария выполняла теория Термидора Г. Лукача, рассматривавшая определенное отступление от первоначальных целей и задач революции как закономерность самого революционного процесса, как определенную фазу революции, обязательную для всех революций.

То, что возможность более широкого истолкования литературно-эстетических вопросов предусматривалась самим участниками «течения» и что сами они именно на такое широкое толкование и рассчитывали, подтверждается их нежеланием, с целью безопасности (весьма важной задачей во второй половине 30-х годов), отойти от острых полемических вопросов и замкнуться в области чистой эстетики.⁷⁶ Сам Г. Лукач рассматривал художественное творчество как образцовую деятельность, позволяющую в творческом и «опредмечивающем» труде преодолеть отчуждение и вернуться к утраченной в антагонистическом обществе сущности человека. Во-первых, эта деятельность является образцовой для всех других видов деятельности, и именно новое, социалистическое общество создает все необходимые предпосылки для того, чтобы любой труд в конечном счете стал подобен художественному творчеству. Во-вторых, сама новая действительность и есть процесс превращения

⁷⁶ *Лифшиц М. Лукач // Вопросы философии. 2002. № 12. С. 105–140.*

родовой общности человека в социалистическое общество, процесс изживания старого состояния мира и переход из «предыстории» человечества в его подлинную историю, в царство свободы. В этом отношении искусство нового мира, сохраняющее верность своей реалистической природе, уже в силу своего исторического положения оказывается гораздо более тесно связано с действительностью, чем реализм XIX века. В новом искусстве главной темой становится преобразование мира и природы человеком именно потому, что сама действительность становится таким преобразованием, а не потому, что искусство должно найти какие-то новые формы, которые могли бы в большей мере, чем традиционные, способствовать преобразовательной деятельности человека.

Вместе с тем, признавая социалистический характер новой действительности, представители «течения» самыми различными способами подчеркивали, что дальнейшая историческая судьба этой действительности ничем не гарантирована. Об этом свидетельствует не только упоминавшаяся выше теория Термидора как необходимой фазы всякой революции. Если вековое отчуждение между миром и человеком начало преодолеваться, то это еще не говорит о том, что отчуждение будет обязательно преодолено. А. Платонов, примыкавший к группе «Литературного критика» и разделявший основные установки «течения», в своей знаменитой антиутопии «Чевенгур» ставит важнейшую теоретическую проблему, открытое обсуждение которой было в конце 20-х годов уже невозможно: можно ли построить социализм или коммунизм в отдельно взятой стране (у Платонова — в отдельно взятом городке). В романе Платонова один из строителей коммунизма Чепурный действительно создает в малень-

ком городе новое общество всего за несколько дней, но при этом уничтожает все, что в нем существовало ранее. «Лучше будет разрушить весь благоустроенный мир, но зато приобрести в голом порядке друг друга, а посему, пролетарии всех стран, соединяйтесь скорее всего!»⁷⁷ Опыты строителей коммунизма в «Чевенгуре» очень напоминают коммунистические эксперименты «красных кхмеров». Но Платонов убедительно показывает, что построить новое общество из ничего невозможно, и чевенгурский коммунизм закономерно обречен на гибель, так как в его основании нет ничего реального. Но в то же время антиутопия Платонова имеет явные узнаваемые черты и легко идентифицируется с тем содержанием отечественной послереволюционной истории, которое характеризует саму новую действительность. Масштабы маленького городка и масштабы отдельно взятой страны говорят лишь о том, что трагический финал «Чевенгура» может быть отсрочен во времени. И в том и в другом случае история представляет собой попытку реализовать утопию, и эта попытка заведомо обречена.

Жертвами этой трагедии оказываются не только фанатики коммунистического строительства, но и народ, изображаемый Платоновым как объект самых невообразимых манипуляций со стороны власти. В то же время Платонов не упускает из виду и готовность самого народа к подобным революционным экспериментам, определенную его предрасположенность к трагедии революции, в силу чего революция оказывается не просто одной из возможностей, которую можно было бы свободно избрать, но единственным спосо-

⁷⁷ Платонов А. Чевенгур // Платонов А. Соч. В 5-ти т. Т. 2. М., 1998. С. 165.

бом выживания. В дореволюционном прошлом народ был обречен на рабский труд, на измождение работой, низводящей человека до полуживотного состояния. Революция уничтожает это состояние, но надежда на лучший мир оказывается неоправданной, и вместо эпохи коммунистического братства наступает эпоха взаимного истребления. Еще раз следует уточнить, в какой мере в антиутопии Платонова выражены взгляды на социалистический СССР, разделяемые «течением»: финал «Чевенгура» не неизбежен, но возможен и в определенной степени закономерен.

Если оценивать идеи «течения» в целом и характерный для него опыт критического осмысления советской действительности, то особо следует отметить тот факт, что именно здесь, в рамках «течения», оказались найденными такие решения многих проблем, которые затем будут воспроизводиться в западноевропейском неомарксизме. И понимание политического значения искусства, во многом предопределенное для Г. Лукача и М. А. Лифшица внешними, неблагоприятными для свободного интеллектуального поиска обстоятельствами, окажется позже особенно притягательным. «Характерно, что... интеллектуальные усилия и талант западных марксистов были обращены на искусство. Можно привести массу впечатляющих примеров на этот счет. Лукач, например, большую часть своей жизни посвятил литературоведческой работе... Адорно написал с десятков книг по музыке... его перу принадлежат очерки по литературе, изданные в трех томах... Наиболее весомым теоретическим наследием, оставленным Бенямином марксизму, было его эссе „Искусство в эпоху его механического воспроизведения“, а наиболее значительным его достижением в 30-х годах стало исследование творчества Бодлера. Основная

работа Гольдманна „Скрытый Бог“ посвящена анализу произведений Расина и янсенизму. Одновременно в ней были установлены общие принципы литературной критики исторического материализма... Говоря о Лефевре, стоит прежде всего упомянуть его книгу „Вклад в эстетику“. В свою очередь Делла Вольпе помимо очерков о кино и поэзии предложил солидный труд по теории эстетики „Критика вкуса“. Известно, что Маркузе не писал отдельных работ, посвященных тому или иному конкретному писателю или художнику, но он рассматривал эстетику как центральную категорию свободного общества, в котором „искусство как форма реальности“ в конечном итоге определит объективные контуры самого социального мира... Первое знакомство Сартра с марксизмом совпало с публикацией его работы под названием „Что такое литература?“ ... После окончательного перехода на позиции марксизма он посвятил следующие 10 лет созданию монументального труда о Флобере, теоретическая ценность которого перевешивала все его ранние философские работы... Грамши логически вписывается в галерею этих теоретиков... он достаточно много писал об итальянской литературе в „Тюремных тетрадах“... Перу Альтюссера принадлежат также статьи, в которых он поднимал проблемы театра и живописи (Брехт, Кремонини), сущности искусства... Таким образом, исследования в области культуры и идеологии доминировали в марксистской мысли на Западе. Эстетика, которая начиная с эпохи Просвещения мостиком соединяла философию с реальным миром, оказалась в сфере особого и постоянного внимания западных марксистов».⁷⁸

⁷⁸ *Андерсон П.* Размышления о западном марксизме. М., 1991. С. 62–64.

Всех виднейших представителей западного марксизма объединяло стремление создать новую теорию искусства, которая могла бы объяснять новую взаимосвязь искусства и политической борьбы. И если Г. Лукач и его единомышленники были убеждены, что классическое реалистическое искусство не утрачивает в новом обществе своей прежней ценности, даже наоборот, именно в этом обществе это искусство и оказывается, как нигде востребованным, то В. Беньямин был убежден в обратном. «...Техническая репродуцируемость произведения искусства впервые в мировой истории освобождает его от паразитарного существования на ритуале. Репродуцированное произведение искусства во все большей мере становится репродукцией произведения, рассчитанного на репродуцируемость. Например, с фотонегатива можно сделать множество отпечатков; вопрос о подлинном отпечатке не имеет смысла. Но в тот момент, когда мерило подлинности перестает работать в процессе создания произведений искусства, преобразуется вся социальная функция искусства. Место ритуального основания занимает другая практическая деятельность: политическая».⁷⁹ И это обстоятельство требует новых форм. Аналогичные идеи, уже высказывавшиеся противниками Г. Лукача в 30-х годах, можно встретить и в «Диалектике просвещения» М. Хоркхаймера и Т. Адорно. Утверждая, что в новой действительности уже произошла замена искусства индустрией культуры, авторы «Диалектики Просвещения» заявляют: «Представление о стиле как о чисто эстетической закономерности является обращенной в прошлое ро-

⁷⁹ Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. С. 28.

мантической фантазией. В единстве стиля не только христианского Средневековья, но также и Ренессанса находит свое выражение в каждом из обоих случаев различная структура социального насилия, а не смутный опыт поработенных, всеобщее в себе содержащий... В любом произведении искусства его стиль представляет собой не что иное, как обещание... Это обещание произведения искусства установить истину путем запечатлевания образа в социально признанных формах является столь же необходимым, сколь и лицемерным... В этом отношении претензия искусства всегда также оказывается претензией идеологии».⁸⁰

Представители Франкфуртской школы социальных исследований не связывали новое положение искусства и его новые отношения со сферой политики исключительно с социалистическим обществом. Согласно их общим представлениям, изменениям в равной мере подверглись и социализм, обернувшийся тоталитаризмом, и западные демократии, где решающую роль стала играть тайная власть олигархии, опирающаяся на секретную полицию. Поэтому, в отличие от противников Г. Лукача в СССР 20-х и 30-х годов, оптимистично относившихся к смерти реалистического искусства, во Франкфуртской школе утверждается, скорее, пессимистичное представление о неизбежности политических функций художественного произведения, которые с эстетической точки зрения это произведение разрушают. В этом можно увидеть сближение точек зрения Г. Лукача и представителей Франкфуртской школы, тем более, что отношения

⁸⁰ Хоркхаймер М., Адорно Т. В. Диалектика Просвещения: Философские фрагменты. М.; СПб., 1997. С. 162–163.

между ними были весьма близкими.⁸¹ Но в то же время франкфуртцы приверженность Г. Лукача идеалам реалистического искусства считали, скорее, утопией, не имеющей шансов на реализацию в современном мире. Политические отношения пронизывают художественную форму, и даже симфоническая музыка при более внимательном взгляде оказывается насыщенной политическими символами. Фигура дирижера олицетворяет власть, господство, а его дирижерская палочка есть нечто иное, как плеть. Оперы Р. Вагнера, считает Т. Адорно, «одурманили целую нацию, — своим лживым идеализированным образом, миражом, своей мнимой просветленностью, эстетически — в социальных условиях либерализма — предвосхищая те преступления, которые позже совершили эти люди, политические преступления против человечества».⁸²

Обзор проблематики соотношения политики и искусства в западном неомарксизме можно было бы продолжать довольно долго, так как эта проблематика давно уже стала достоянием разнообразных университетских курсов. В этой проблематике естественным образом потерялись и идеи «течения» Г. Лукача и М. А. Лифшица, и противостоящие им «формализм» и «вульгарный социологизм». Следует признать, что западноевропейским наследникам имевших место в СССР 20—30-х годов дискуссий по поводу взаимосвязи искусства и политики многое удалось выразить более ясно и определенно. В самом же СССР уход от данной проблемы закономерно оборачивался отсту-

⁸¹ См.: *Дмитриев А. Н.* Марксизм без пролетариата: Георг Лукач и ранняя Франкфуртская школа (1920—1930-е годы) СПб.: М., 2003.

⁸² *Адорно Т. В.* Избранное: социология музыки. М.; СПб., 1999. С. 147.

плением от остроты проблемы и разделением сфер эстетики и политики. В «советском» марксизме постепенно сложилось мнение, что художественное отображение действительности представляет собой совершенно особый способ ее познания, который не имеет никакого политического значения. В западноевропейском марксизме идеи политического значения эстетики и искусства, наоборот, оказались востребованными. Эти идеи широко использовались в том числе и с целью критической оценки советского исторического опыта. Искусство в такой перспективе может и должно рассматриваться как способ критики действительности. И первые шаги в этом направлении, оказавшемся весьма плодотворным для западноевропейского марксизма, были сделаны именно в СССР 20—30-х годов.

ГЛАВА 2. СССР КАК СВЕРХДЕРЖАВА

2.1. Критический опыт преодоления сталинизма

Критические оценки советского исторического опыта при всем их разнообразии сходятся между собой в некоторых существенных пунктах. Независимо от того, где обнаруживается главная причина деформации социализма — в преждевременности революции Октября или в последующем бюрократическом перерождении советского государства — общая оценка сталинского периода в истории СССР в целом одинакова. Сталинизм заблокировал все или почти все возможности свободного развития советского общества как перехода от царства необходимости к царству свободы. И в этом отношении сталинизм и на практике, и в теории был отступлением от аутентичного марксизма, к которому теперь, чтобы исправить допущенные ошибки, необходимо вернуться.

Такова эта оценка в самых общих чертах. Она тематизирует еще один «узловой пункт» в содержании советского исторического опыта. Если первым «узловым пунктом» была Октябрьская революция, то вторым становится XX съезд КПСС и его решения, содержащие оценку сталинизма. В марксистской теории эти решения были восприняты неоднозначно, но в любом

случае решающий характер самого события для истории СССР никем под сомнение не ставился. Как бы ни рассматривалась природа этого события — как закономерное следствие естественного исторического хода вещей или как выражение злой или благонамеренной воли правящей партийной элиты, — оно в любом случае радикальным образом изменило последующее развитие советского общества. Вместе с тем, как и любое решающее историческое событие, XX съезд оставил после себя множество неразрешенных вопросов: «XX съезд стал переломным... Съезд произвел очень сильное впечатление во всех отношениях, однако вопросов оставил после себя больше, чем ответов... Репрессии возникли „на пустом месте“, обрушились на соратников и единомышленников главы государства, или в сталинском СССР все-таки существовала оппозиция режиму, власти и лично Сталину? Оппозиция была широкой, серьезной и опасной для тогдашнего правительства, или она — надуманная вещь, плод «маниакальных страхов»? Пока на эти вопросы нет разумных ответов...»⁸³ (Заметим в скобках, что вольно или невольно не ставится самый важный вопрос: если оппозиция власти существовала и если она была опасной для власти, то почему от решения спора между оппозицией и властью был отстранен народ?)

Как всякое решающее историческое событие, XX съезд очень скоро стал мифологическим событием советской истории, причем в его мифологизации в равной мере принимали участие и сама власть, и круги интеллигенции, и западная советология. Следствием такой мифологизации являются полярные оценки:

⁸³ Толстых В. И. Пока на эти вопросы нет разумных ответов // Литературная газета. М., 2006. № 7. С. 2.

либо XX съезд спас страну, либо окончательно ее погубил. Парадоксальным образом даже тот факт, что XX съезд нес с собой гибель страны, может приобретать положительное значение: «Начатая Хрущёвым критика так называемого культа личности Сталина, сказанная им вслух правда о репрессиях сталинской эпохи были моральным подвигом, бунтом совести в душе большевика, верного ленинца. Конечно, надо видеть, что сам Никита Сергеевич не понимал, что его доклад о преступлениях Сталина — это начало конца, это подкоп под здание мировой социалистической системы... И глупо укорять Хрущёва за то, что он провел десталинизацию не до конца, непоследовательно. Он сделал для освобождения России от чудовища коммунизма все, что мог сделать в тот момент коммунист, лидер партии и коммунистического мира».⁸⁴

Само событие XX съезда образовало в идеологической ткани советского общества разрыв между сталинизмом и коммунизмом. Простая антитетика позволяет установить как минимум четыре простых отношения к этому разрыву: коммунистический антисталинизм (выражавший идеологию самого XX съезда), коммунистический сталинизм (понятый тем не менее как попытка возвращения к разорванному тождеству, а не как само это тождество в его первоначальном, до разрыва, состоянии), антикоммунистический антисталинизм (который нас в рамках исследуемой темы интересует только в той мере, в какой предполагает обоснование своей позиции через обращение к Марксу) и антикоммунистический сталинизм (представляющий собой вполне логически возможную по-

⁸⁴ Ципко А. И. Люди вздохнули с облегчением // Литературная газета. М., 2006, № 7. С. 3.

зицию, предполагающую героическое возвеличивание личности Сталина и его политики, направленной на уничтожение коммунизма). Мы постараемся далее рассмотреть детально все эти позиции, за исключением последней, так как если какие-то редкие ее примеры и можно привести,⁸⁵ то они в любом случае основаны на апелляции не к Марксу, а к культуре сильного государства и другим идеям откровенно правого толка, и поэтому естественно выходят за рамки нашей темы.

Начиная рассмотрение первой позиции, обозначенной нами как «коммунистический антисталинизм», следует сразу же сказать, что хотя она и совпала с официальной позицией партийного аппарата, готовившего XX съезд, это совпадение оказалось кратковременным, а сама партийная элита была весьма непоследовательна в реализации решений XX съезда на практике. Этот вопрос заслуживает особого изучения, и вполне обоснованной выглядит, в частности, гипотеза А. Фурсова⁸⁶ о том, что XX съезд на самом деле не открыл политику десталинизации, а попытался, осознав неизбежность процесса, свести его неблагоприятные последствия к минимуму или, если это окажется возможным, вовсе его свернуть. Решения XX съезда были, согласно этой гипотезе, нацелены на то, чтобы

⁸⁵ С этой точки зрения характерно течение нового российского неосталинизма, где политическая деятельность Сталина, изначально якобы нацеленная на сохранение советской государственности и на дальнейшее ее всемерное укрепление, последовательно противопоставляется политическим намерениям Троцкого, Ленина и всему мировому коммунистическому движению. См., например: *Баландин Р. К.* Тайны завещания Ленина. М., 2007; *Мартиросян А. Б.* Кто привел войну в СССР? М., 2007.

⁸⁶ *Фурсов А.* Номенклатурные сатурналии // Литературная газета. М., 2006. № 7. С. 4.

сохранить номенклатуру как класс, упрочить ее положение и «создать удобную версию событий, выведя за скобки ту силу, давление которой и вынудило партию на «развенчание культа». Эта сила — единственное в советской истории поколение победителей, относительно молодые мужики, прошедшие фронт и по-пластунски отмахавшие пол-Европы».⁸⁷ Поэтому позиция коммунистического антисталинизма самой партийной элитой была выражена весьма невнятно, непоследовательно и противоречиво.

Гораздо более обоснованное выражение этой позиции мы можем обнаружить у представителей упоминавшегося нами в предыдущем разделе «течения», в частности у Г. Лукача, М. А. Лифшица и некоторых других. Здесь эта позиция основывается на том обстоятельстве, что послевоенные годы советское общество оказалось в совершенно иной ситуации, чем в предвоенный период. После десятилетий господства сталинизма экономические, социальные, политические и идеологические факторы, вызвавшие к жизни авторитарный социализм, фактически утратили свою силу. Исторические факторы, закономерно создавшие сталинизм как систему, были и объективными, и субъективными. В послевоенное время абсолютно иная совокупность объективных и субъективных факторов столь же закономерно привела к осуждению периода сталинизма. В этой перспективе главное значение приобретает то обстоятельство, что социалистическая демократия в период сталинизма была сведена к минимуму, а любые возможные самостоятельные действия масс были фактически подавлены. Это распространялось не только на сферу большой полити-

⁸⁷ Там же.

ки, где решения принимались все менее и менее узкой группой лиц, но и на сферу повседневности, где контроль над любыми жизненными проявлениями становился все более и более тотальным. Здесь важно подчеркнуть, что речь идет о фактической стороне дела, так как формально некоторые демократические процедуры — такие, как тайное голосование, всеобщее избирательное право и некоторые иные — сохранялись и считались общеобязательными. В то же время этот период являлся периодом накопления колоссального опыта бюрократических манипуляций, превращавших все эти процедуры в пустую формальность, лишь подтверждавшую решения, уже принятые в закулисных инстанциях. Между прочим, сам процесс свертывания демократических процедур в период сталинизма может быть подтвержден фактически, путем наблюдения над эволюцией партийных и государственных органов в 20—30-е годы, и эти наблюдения наглядно показывают, что тенденция свертывания демократических процедур очевидна не только в сравнении с положением дел в начале 20-х годов (то есть в тот период, который, строго говоря, нельзя относить к периоду сталинизма), но и при сравнении первой и второй половин 30-х годов. Эта наглядность есть объективное свидетельство разрыва между коммунизмом и сталинизмом, и неслучайно сторонники второй позиции, обозначенной нами как «коммунистический сталинизм», предпочитают этой явной тенденции не замечать и обращают внимание лишь на совершившейся вместе с принятием Конституции 1936 года переход от производственного принципа избирательной системы к территориальному, возрождавшему буржуазную избирательную систему и поэтому позже в значительной мере ухудшившему характерную для ста-

линизма социалистическую демократию. «В 30-е годы в условиях резко обострявшейся международной обстановки и нарастающей угрозы войны был осуществлен отход от выборов органов власти через трудовые коллективы (вопреки действовавшей Программе РКП(б)). И хотя многие характеристики Советов сохранялись (выдвижение кандидатов в депутаты трудовыми коллективами, высокий удельный вес рабочих и крестьян в депутатском корпусе, периодические отчеты депутатов перед избирателями), тем не менее появились предпосылки формирования парламентской системы, оторванной от трудовых коллективов и позволяющей депутатам, особенно высших уровней, избранным от территории, игнорировать волю трудового народа практически без риска быть отозванными. Неподконтрольность государственной власти трудовым коллективам, ее относительная независимость от них способствовали принижению роли трудящихся в управлении обществом, бюрократизации всей системы государственной власти».⁸⁸

Политическая и социальная деформация общества, навязанная партийным аппаратом в период сталинизма, стала рассматриваться как нормальное состояние социализма. Идея, что диктатура пролетариата предполагает постоянное обострение классовой борьбы, использовалась партийным аппаратом как историческое и социально-политическое оправдание сталинского тоталитаризма. Теоретически эта идея подвергалась критике, но это ничуть не повлияло на то обстоятельство, что она оправдывала практику мас-

⁸⁸ Программа Российской коммунистической рабочей партии — Революционной партии коммунистов. Электронный ресурс: rkrp-rpk.ru/content/category/2/20/47.

совых репрессий и обеспечивала легитимность гегемонии карательных органов в системе государственного и партийного механизма. Сталинизм создал атмосферу психологической гражданской войны: «Так вокруг ставшего изолированным субъекта сектантского догматизма рождается отвратительная атмосфера недоверия; период открытых судебных процессов может быть понят, по крайней мере психологически, лишь при учете этой атмосферы. Но это недоверие, которое по своей внутренней структуре есть крайний субъективизм, превращается, как только субъективное желание становится сильным, в столь же субъективистки-бесосновательное легкоеверие. Так, например, Сталин, несмотря на многочисленные предупреждения летом 1941 года, не хотел верить в возможность нападения Гитлера на Советский Союз».⁸⁹ Навязчивая всеобщая подозрительность, шпиономания, не прекращающийся ни днем, ни ночью поиск врагов народа — все это в конце концов превратилось в некий стандарт поведения, стало существенной стороной советского образа жизни. Потенциально любой человек мог оказаться предателем, и бдительность надо было проявлять не только в трудовом коллективе, но в семье, по отношению к самым близким людям. Поскольку утрата бдительности рассматривалась как тяжкое преступление, то перед интересами правящей элиты, олицетворяемой личностью Сталина, должны были автоматически отступать не только личные интересы, но и необходимость сохранения семьи, поддержание рабочей атмосферы в трудовом коллективе и т. д. Важно отметить, что критика сталинизма на XX съезде начи-

⁸⁹ *Лукач Г.* По поводу дебатов между Китаем и Советским Союзом // *Философские науки.* 1989. № 6. С. 105—106.

налась с утверждения, что чистки 30-х годов были совершенно бесполезными и ненужными, так как оппозиция в тот момент была уже лишена политического влияния, и репрессивный аппарат легко мог осуществлять контроль над всеми ее представителями. Еще в 30-е годы Г. Лукач «сравнивал московские процессы с борьбой в якобинской верхушке (судьба Дантона) — как трагические, но все же преходящие стороны революционного процесса — и считал решающим для того периода выбор между СССР и Германией, который должны были сделать в перспективе надвигающейся войны руководящие круги Англии и США».⁹⁰ С этой точки зрения физическое устранение представителей оппозиции было лишено политического смысла, так как даже сам сталинский пропагандистский аппарат оправдывал репрессии в качестве упреждающей меры на тот случай, если в будущей войне представители оппозиции, а то и просто политические неблагонадежные граждане станут помогать возможному противнику. Однако эта в целом правильная оценка репрессий не повлекла за собой непосредственных политических выводов в среде правящей партийной и государственной элиты. Очень скоро подобная критическая оценка сталинских репрессий стала расцениваться как подрывающая основы советского строя идеологическая диверсия. Даже простое повторение оценок XX съезда подавлялось именно под тем предлогом, что на XX съезде все необходимое о «культе личности» уже было сказано. Такая позиция была близка к отказу аппарата от решений XX съезда и к возвращению к практике и теории сталинизма, только в более мягком ва-

⁹⁰ *Дмитриев А. Н.* Марксизм без пролетариата. Георг Лукач. М., 2004. С. 435—436.

рианте, при котором сам партаппарат будет надежно защищен от возможности репрессий.

Вместе с тем само начало критики сталинизма было исключительно важным аспектом решений XX съезда. «При всей непоследовательности в выявлении сущности сталинизма решения XX съезда КПСС дали мощный импульс реформаторским силам в странах советского лагеря, ведь критика тех или иных сторон тоталитарной системы, за которую прежде представители оппозиционно настроенной интеллигенции подвергались нещадным гонениям, вдруг получила поддержку из самой Москвы. Наряду с Польшей движение с требованием демократизации существующего режима весной 1956 г. достигло наибольшего размаха в Венгрии... Д. Лукач также воспринял XX съезд как начало коренного политического обновления и морального очищения мирового коммунистического движения, решительного разрыва с компрометирующими марксизм и идею социализма сталинскими методами».⁹¹ Другое дело, что критике были подвергнуты главным образом периферийные проблемы, тогда как ядро системы сталинизма осталось неприкосновенным. Критика сталинизма сосредоточивалась на критике «культы личности», то есть на явлениях, имеющих отношение прежде всего к сфере идеологии и культуры. Эта критика не была неверной, но она была откровенно неполной. Партийная и государственная элита говорила о недопустимости повторения массовых репрессий, но имелась в виду недопустимость репрессий не по отношению ко всему обществу в целом, а только по отношению к

⁹¹ *Стыкалин А. С.* Дьердь Лукач – мыслитель и политик. М., 2001. С. 151–152.

номенклатуре. Отсюда тот, на первый взгляд совершенно непонятный, акцент в критике культа личности, когда очевидный принцип верховенства закона, из намеренного нарушения которого и вырос сталинизм, даже не обсуждался при критическом анализе истоков сталинского авторитаризма. Номенклатура меньше всего была заинтересована в восстановлении принципа верховенства закона, так как такое восстановление автоматически означало бы, что правящий класс лишается своих самых важных привилегий. Другой аспект ограниченности критики культа личности — отсутствие каких-либо сравнений с другими авторитарными режимами, уже известными историческому опыту человечества. Такие сравнения могли бы многое прояснить в механике осуществления авторитарной власти, ее удержания, в политических механизмах личной зависимости, в идеологических механизмах манипуляции массами. Вероятно, проводившая политику десталинизации номенклатура считала возможным использование этих механизмов в своих интересах и поэтому не была заинтересована в их разоблачении. Кроме того, не был поставлен теоретически и практически важный вопрос о том, является ли связь между нарушением принципа верховенства права и личным сталинским авторитаризмом необходимой. Действительно, история показывает, что нарушение принципа верховенства права не всегда ведет к личному авторитаризму, как и наоборот, личный авторитаризм вовсе не обязательно влечет за собой нарушение принципа верховенства права. Принципиальное нежелание обращаться к истории и находить там некоторые, пусть и поверхностные, аналогии сталинизму, превратило последний в некое уникальное явление, возникшее вследствие определенного откло-

нения, личных ошибок Сталина, сыгравших решающую роль. При этом упускался из виду тот очевидный факт, что решающую роль личные ошибки правителя могут играть только при таком политическом режиме, где его власть практически не ограничена. Поэтому вопрос о природе сталинского авторитаризма, вопрос о том, почему возник политический режим неограниченной личной власти, остался вне поля зрения.

Но дело усложнялось еще и тем обстоятельством, что сталинизм не сводился по своей природе ни к личному авторитаризму, ни к упразднению принципа верховенства закона. Ядро системы сталинизма, оставшееся вне поля зрения инициаторов десталинизации, было образовано действием иных причин. Сталинизм был порожден вполне определенной экономической проблемой, имевший глубокие и всесторонние последствия во всей советской истории. Эта проблема была вызвана необходимостью индустриализации экономики СССР и сводилась к определению источников «первоначального накопления». С этим обстоятельством связана особая роль насилия в системе сталинизма: «Историческое призвание класса к господству означает, что из его интересов и сознания вырастает объективная возможность организации общественного целого сообразно интересам данного класса. И вопрос, который в конце концов решает исход любой классовой борьбы, состоит в том, какой класс в данный исторический момент обладает такой объективной способностью, таким классовым сознанием. Сказанное вовсе не исключает роли насилия в истории и не гарантирует автоматического утверждения предопределенных к господству классовых интересов, которые в данном случае отвечают интересам общественного развития в целом. Как раз напротив. Во-первых, усло-

вия того, чтобы интересы призванного к господству класса вообще смогли проявиться, очень часто могут создаваться только путем жесточайшего насилия (например, в эпоху первоначального накопления капитала). Во-вторых, именно в вопросах насилия, то есть непосредственно в тех ситуациях, когда между классами идет открытая борьба за существование, вопросы классового сознания обнаруживаются как решающие в конечном счете моменты происходящего».⁹²

В рамках политики построения социализма в отдельно взятой стране, предполагавшей опору на исключительно внутренние ресурсы и, следовательно, масштабные и интенсивные перераспределения национального богатства из аграрного сектора в промышленный, сталинизм добился многих успехов. Здесь не вполне уместно рассматривать вопрос о том, был ли сталинизм единственно возможной формой осуществления индустриализации, и вели ли неизбежно все остальные возможные формы к реставрации капитализма. Следует сказать, что после Второй мировой войны СССР был вынужден решать экономические задачи восстановления промышленности, сходные по своему характеру с задачами индустриализации. И в этот период сталинизм как социально-политическая и идеологическая система также добился вполне ощутимых успехов. Сталинизм как система становился неэффективным, а в перспективе и ненужным, когда данные задачи решались, и достигался определенный уровень развития экономики. На этом более высоком уровне возникали задачи производства не определенного количества товаров, а товаров определенного качества, возникали задачи существенного повышения

⁹² Лукач Г. История и классовое сознание. М., 2003. С. 131.

уровня жизни людей. Система сталинизма была не готова к решению этих задач.

Сталинизм был не в состоянии адаптироваться к тому новому социально-экономическому вызову, который он сам и порождал. Сталинизм попытался ответить на этот новый вызов посредством старых политических методов. В этой связи Вторая мировая война была спасением для сталинизма как системы и позволила отсрочить его неизбежную гибель. В этой же связи после восстановления экономики в конце 40-х годов мирный период оказался для системы сталинизма губительным. Сосредоточение на задачах индустриализации, источником которой могли быть только внутренние ресурсы, неизбежно предполагало определенное ограничение личного и общественного потребления. Согласно Марксу, «голод есть голод, однако голод, который утоляется вареным мясом, поедаемым с помощью ножа и вилки, это иной голод, чем тот, при котором проглатывают сырое мясо с помощью рук, ногтей и зубов. Поэтому не только предмет потребления, но также и способ потребления создается производством, не только объективно, но и субъективно. Производство таким образом создает потребителя».⁹³ При таких условиях партия могла играть роль авангарда, только являя всему обществу образец аскетизма. В обществе, где еще несколько десятилетий назад подавляющее большинство населения было глубоко религиозным, аскетизм и на практике, и в теории мог быть связан только с представлениями о «святости». Отсюда неизбежные для сталинизма представления о партии как о замкнутом религиозном ордене, отсю-

⁹³ Маркс К. Экономические рукописи 1857—1859 годов // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. I. С. 28.

да догматизм и беспрекословное подчинение сверху донизу, весьма эффективное при военно-командном управлении обществом. Поэтому репрессии внутри партийного аппарата назывались «чистками», то есть очищением, возвращением к нормам святости и аскетизма. Близкая к святости способность жертвовать собой подразумевала обязательное физическое уничтожение жертв репрессий. По той же причине в число обвинений, предъявляемых тем, кто переходил в разряд «врагов народа», почти обязательно входило и моральное разложение, выражавшееся в имущественных и сексуальных излишествах (коллекции вин, антиквариата, импортного ширпотреба, изъятые при обыске у Ягоды, гомосексуализм Ежова и т. д.). Ареопак недосягаемых для репрессий самых близких соратников Сталина должен был также обнаруживать подвижническую готовность к жертвам, и их жены и сыновья не были наделены иммунитетом от возможных преследований.

Таким образом, после того, как задачи послевоенного восстановления экономики посредством сталинских методов мобилизации и централизации были успешно решены, наступило тем не менее время новых попыток претворить социалистическую демократию в жизнь. В истории СССР закономерно возникает альтернатива: либо сохранить основы сталинизма, частично усовершенствовав сталинские методы хозяйствования и управления, либо постепенно начать вводить те методы управления, которые доказали свою эффективность в экономике Запада. Эта альтернатива закономерно вызывает раскол правящей элиты на «консерваторов» и «реформаторов». Бюрократия, власть которой основана на централизованном планировании, не желает добровольно отказываться от своей

господствующей роли в обществе, и пытается сохранить ее, активно включаясь в процессы модернизации, но в то же время сводя содержание этих процессов к чисто технической стороне вопроса. Так, например, использование ЭВМ и других новейших технологий одобряется бюрократией в той мере, в какой позволяет улучшить механизм централизованного планирования, не меняя его принципов. Реформаторы полагают возможным заимствовать многие элементы западной организации экономики и исходят из предположения, что рыночная конкуренция в социалистическом обществе может раскрыть все свои преимущества. Это конкуренция капиталов без конкуренции капиталистов. И «консерваторы», и «реформаторы» охотно идут на уступки друг другу, что в итоге создает благоприятную идеологическую атмосферу для политики реформ, однако сами эти реформы вследствие постоянных компромиссов лишены определенной цели и представления о средствах ее достижения.

Важно указать на то обстоятельство, что экономическое и политическое в этой ситуации тесно взаимосвязаны. Тот факт, что экономическая реформа выходит на повестку дня в социалистическом обществе, означает, что вслед за этим со всей остротой возникает и проблема социалистической демократии. И поскольку эти новые теоретические проблемы — реформа и демократия — обсуждаются в условиях, когда свободный критический взгляд на предшествующий исторический опыт, в силу сохранения господствующего положения бюрократии, еще невозможен, то неизбежным становится возвращение к Советам как к уникальной или даже единственно возможной форме социалистической демократии. Однако, как убежден Г. Лукач, на этой стадии развития социалистического

общества все попытки возродить советское движение представляют собой, с точки зрения логики самой истории, движение назад, то есть, строго говоря, реакционное движение. Советское движение было формой непосредственной демократии, и в тот период, о котором идет речь, ни объективных, ни субъективных условий для такого возвращения к прошлому не существует. Любой, мечтающий о возрождении спонтанно зародившегося в начале XX столетия советского движения, обрекает себя на жизнь в пустых фантазиях. И в то же время возникновение такого рода фантазий закономерно, они постоянно подпитываются мифологией трудового энтузиазма масс, героизма прошлого, что свидетельствует о непонимании того факта, что сталинизм своими авторитарными методами разрушил непрерывность советского движения и превратил его в форму внешних манипуляций массами в интересах правящей бюрократии.

Историческая продолжительность системы сталинизма имела губительное воздействие на творческий потенциал масс. Массы утратили веру в себя, в веру в возможности активного преобразования мира собственными силами. Взрывоопасная революционная энергия масс, нашедшая выход в революционных событиях Октября 1917 года, породившая советское движение, разумеется, не могла бесследно исчезнуть. «Раз люди однажды почувствовали, что они могут быть товарищами по совместному управлению собственной жизнью, вы не вышибете из них этого сознания топором, не оттолкнете их от него любым лицемерием. Оно может иногда только дремать в них или находить себе неожиданный и странный выход, но присутствие его неоспоримо. Вот в чем основной капитал Октябрьской революции, и лишь по мере того, как общество, соз-

данное этой революцией, пользовалось им, прибыль росла. В этом последнем источнике общественного подъема все: и развитие промышленности, и успехи науки, и победа над внешним врагом, вооруженным до зубов».⁹⁴ В то же время в период сталинизма не активное, но пассивное поведение масс стало нормой, соответствующей авторитарному стилю управления. Приоритет тактики над стратегией, характеризующий сталинизм, закономерно привел к ситуации, когда все общество оказалось под властью бюрократии, и активным участникам повседневной практической жизни, как и тем, кто был более предрасположен к пассивному образу жизни, приходилось приспосабливаться к новым правилам поведения, диктуемым рамками авторитарной системы. Поэтому преодоление сталинизма предполагает изучение той типологии поведения, тех типов личности, которые были порождены системой сталинизма. Субъективная сторона, закономерно возникающая при том производственном строе, который был закономерно установлен в период сталинизма, чрезвычайно важна для понимания природы этой системы и для ее преодоления.

Г. Лукач считает принципиальным одновременно и сохранение критики сталинизма, и строгое отделение этой критики от той, что имеет чуждую идеологическую природу. Буржуазная критика, обращаясь к историческим истокам сталинизма, основывается на утверждении, что социалистическое общество, встающее на пути индустриализации, развивается тем же способом, что и капитализм, или, если различия признаются, что в результате индустриализации все различия между капитализмом и социализмом неизбежно

⁹⁴ *Лифшиц М. А.* Собр. соч. В 3-х т. Т. III. С. 255.

исчезнут. Поэтому главное отличие конструктивной критики сталинизма выражается в признании того факта, что национализация средств производства создала такие объективные отношения, которые должны оставаться качественно отличными, от соответствующих отношений в любом классовом обществе. Если говорить более конкретно, то любой глубокий анализ всех существующих социалистических обществ, в том числе и авторитарного типа, показывает, что национализация средств производства действительно объективно уничтожила и сделала невозможной любую форму эксплуатации человека человеком. В то же время отталкивающееся от этой национализации дальнейшее экономическое и политическое развитие социализма на определенных стадиях еще не способно к созданию социалистической демократии. Социалистическое общество, возникнув, еще не обеспечивает существование социалистического человека, особенно в политической сфере. У человека труда, освободившегося от эксплуатации, еще нет возможности преобразовать себя в активного субъекта общественной жизни. Люди в таком социалистическом обществе знают, что средства производства национализированы, но не знают, как национализацию средств производства сделать основанием, позволяющим им проявлять себя в качестве свободных людей коммунистической общественной формации. Решающие и необходимые предпосылки для такого преобразования объективно присущи актуальному социалистическому обществу, и отрицание этой объективности является достоверным признаком буржуазной критики социализма и сталинизма. Критика социализма и сталинизма возможна и необходима, но только в том случае, если в ее основе лежит убеждение, что социализм представляет

собой единственную альтернативу противоречиям капитализма.

Г. Лукач полагает, что, рассматривая сталинизм с объективной точки зрения, мы вынуждены признать, что экономический строй и общественный строй, установленный Сталиным, оказался способен преодолеть экономическую отсталость России и своим быстрым ростом производительных сил заложил фундамент будущего Царства Свободы. Это обстоятельство необходимо признать независимо от того факта, что сталинизм основывался на систематическом нарушении принципов социалистической демократии и был в конечном счете неспособен достичь такого же материального изобилия, какое уже имели в своем распоряжении самые развитые капиталистические страны. Противоречивость сталинизма как стадии в развитии социалистического общества выразилась в том, что он создал не только материальное основание для возможности перехода к Царству Свободы, но и объективные барьеры, препятствующие осуществлению этого перехода. Таким образом, переходный период от капитализма к социализму, в котором следует искать истоки сталинизма, не имеет никаких аналогов в истории человечества. Отличие социалистической критики сталинизма от критики буржуазной заключается в признании этой уникальности и в отказе от использования понятий, применимых к действительности иного рода (таких, как «бонапартизм», «тирания» и др.).

Аналогичным образом и упомянутая выше проблема верховенства права при социализме не может решаться путем простого возвращения от ее сталинистских искажений к прежнему, буржуазно-демократическому пониманию. Скептическое, подозрительное отношение марксизма в самых разных его версиях к «юридическо-

му идеализму», к праву как к универсальной панацее от социальных и экономических проблем слишком хорошо известно, чтобы еще раз вновь заострять на этой теме внимание читателя. Следует лишь добавить, что такого рода скепсис был характерен не только для отечественной версии марксизма (которую условно можно обозначить термином «советский марксизм»), но и для самых различных и порой противоречащих друг другу направлений «западного марксизма». И этот факт приобретает особое значение в свете того, что, во-первых, как известно, идеологическая инволюция «советского марксизма» началась именно в тот момент, когда правящий класс взял на вооружение идеал «правового государства», а во-вторых, критика советского исторического опыта, отечественной практики воплощения идеалов социального равенства со стороны западного марксизма в подавляющем большинстве случаев связывалась с утверждениями, что опыт построения социализма в СССР имеет антигуманистический характер, что этот опыт создает непреодолимые препятствия для всестороннего развития человеческой индивидуальности и что он противоречит реализации фундаментальных прав человека.

В связи с этим отношение марксизма (включая и его отечественную, и его западноевропейскую версию) к принципу верховенства права приобретает отчетливо выраженный парадоксальный характер. Необходимо самым внимательным образом разобраться в причинах этого парадоксального отношения. Причем, если эти причины могут быть как историческими, так и «логическими», то есть теоретическими, коренящимися в самих принципах марксистской теории, то следует сразу же заявить, что речь ниже пойдет только о причинах второго рода. История отношений марксиз-

ма и права намеренно выносятся «за скобки», так как теоретические причины в данном случае гораздо важнее исторических, и поэтому именно на них и следует в первую очередь сосредоточиться.

Любопытно, что даже перевод названия рассматриваемого принципа на русский язык весьма симптоматичен и отражает весьма характерную ситуацию в сфере идей. Термин *rule of law*, переведенный как «верховенство права», предполагает представление о каком-то объективном, если даже не трансцендентном в смысле платонизма, мире правовых норм, не зависящих от людей и от их деятельности, но только воплощаемых при удачном стечении иных обстоятельств посредством этой деятельности, в том числе и в законах. Такое имплицитное представление, предопределяющее перевод, оказывается чем-то вроде художественного приема, посредством которого право оказывается расположенным в рамках ложной дилеммы «идеализм или реализм». Возникает подтекст, от которого очень трудно избавиться, — верховенство права есть некий идеал, но есть и реальность, с которой необходимо считаться в первую очередь. Следует обратить внимание, что там, где принцип *rule of law* возникал и утверждался, какие-либо коннотации с платоновским противопоставлением мира идей и мира вещей отсутствовали, а в основе формулы *rule of law* лежал иной подтекст: «*rule of law and not of men*», «власть закона, а не людей». Иными словами, формула *rule of law* скрывала за собой не дилемму мира идей и мира вещей, а дилемму «император — это закон» или «закон — это император». Нетрудно понять, что принцип верховенства права, рассматриваемый в контексте платоновского противопоставления мира идей и мира вещей и предполагающий при удачном стечении обстоятельств приближение реаль-

ности к идеалу, не может не иметь своим следствием допущения, что власть императора есть наилучшее из всех обстоятельств, содействующих осуществлению принципа верховенства права. И столь же нетрудно понять, что формула *rule of law and not of men* такое обстоятельство расценивает как препятствие, которое следует устранить в первую очередь.

На «врожденный» платонизм русского правосознания теоретики отечественной философии права неоднократно обращали внимание. П. И. Новгородцев, характеризуя почву формирующейся русской правовой культуры как христианский социализм, утверждает, что этот последний весьма близок «...к платоновскому идеалу по тем нравственным задачам, во имя которых они высказываются. Но у Платона средством для реализации этих задач признается всемогущее государство, которому все частные помыслы и стремления приносятся в жертву».⁹⁵ Этот «врожденный» платонизм предопределил не только понимание принципа верховенства права, характерное для «советского марксизма», но и оценку могущества государства как необходимого условия реализации этого принципа. Право соотносится с деятельностью государства, оно не связано с поисками человеком своего «подлинного существования» и заведомо лишено экзистенциального измерения. Марксизм, по мере того как он оказывается озабочен не проблемами разрушения государства, а вопросами государственного строительства, связывает с правом задачи упорядочивания общественной жизни, обеспечения безопасности. Человек, возвращающийся к самому себе,

⁹⁵ Новгородцев П. И. Лекции по истории философии права // Новгородцев П. И. Соч. М., 1995. С. 67.

к своей сущности, к сокровенным возможностям бытия, либо должен на неопределенное время отложить свое «очеловечивание», либо достичь его вне сферы права. И в том и в другом случае человеку отводится роль либо «слуги императора», либо подозреваемого в преступных намерениях. Политическая благонадежность неизбежно отождествляется с правопослушным поведением, и точно так же неизбежно преступными становятся не только деяния, но и помыслы. Максима классического марксизма «свобода каждого является необходимым условием свободы всех» не только превращается в свою противоположность («свобода всех является необходимым условием свободы каждого»), но и выхолащивается настолько, что свободный выбор личности, ее право принимать решение оборачивается стремлением «винтика» государственной машины если и не сломать эту машину, то по меньшей мере нанести ей максимально возможный вред. Рождается правовая идеология, наделяющая правами исключительно государство («императора») и заранее лишаящая всех прав индивида.

Однако в марксистской теории факт рождения этого юридического монстра по понятным причинам остается незамеченным. Официальный «советский марксизм» был заведомо неспособен на критическое отношение к действительности. Что же касается свободного, на первый взгляд, от идеологического и политического принуждения западного марксизма, то он продолжал оставаться в плену догмата об определенности общественного сознания общественным бытием и, как следствие, зависимости правового сознания от способа производства материальных благ. Право есть форма общественного сознания и как таковая имеет исторически определенные границы своего существо-

вания. Эта форма должна была закрепить буржуазные общественные отношения, обосновать господство нового класса, изобразить его как «естественное», «вечное». Отсюда безличный, мнимо надисторический характер правовых норм. Мироззрение буржуазии, сформировавшееся в Европе в XVIII столетии, Энгельс называл «юридическим мироззрением», и именно ему и суждено «было стать классическим мироззрением буржуазии». ⁹⁶ Разумеется, новый господствующий класс уже не нуждается в этой старой форме, и поэтому как юридическое мироззрение, так и само право обречено на вымирание. Не ставя под сомнение эти общие положения, западный марксизм не испытывал тревоги по поводу очевидного регресса в правовой сфере нового общества, строящего социализм, и склонялся к убеждению, что более важен и интересен сам опыт этого строительства, который должен привести к рождению новых и более эффективных, чем право, форм регулирования общественной жизни.

Критика юридического мироззрения рождалась из этого представления о скором исчезновении права вообще. Но первым объектом этой критики становился формализм права, юридический нормативизм, основанный на кантовском противопоставлении должноствования бытию. Считалось, что, отрывая нормы права от действительности общественной жизни, нормативизм истолковывает их как априорные требования чистого разума. Теория права представляла в такой интерпретации как чисто нормативная наука, стремящаяся избегать всякого «смещения» должноствования с эмпирическим бытием. Эти нормы должны быть объектом чисто формального анализа, безотносительно

⁹⁶ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 496.

к их конкретному социально-историческому содержанию. Следует признать, что критика формализма и нормативизма права могла опираться и на вполне определенные и явно выраженные социально-исторические процессы, в закономерном характере которых к концу XIX столетия уже мало кто сомневался. Общественное мнение соглашалось с тем, что право не может регулировать и даже сдерживать экономические процессы, ведущие к господству монополий, способных легко обходить многие юридические нормы. Очевидной была и неспособность правящего класса удерживать свое господство без предоставления административно-бюрократическому аппарату максимально возможной свободы действий, выходящей при необходимости за рамки правового регулирования.

Тематизация в литературе и в социальной теории проблемы бюрократии связана именно с процессами последнего рода. Показательна дистанция от изображения бюрократии у Ч. Диккенса, для которого «министерство есть лишь остроумное приспособление для того, чтобы ... помогать жирным обороняться против тощих», до картины бюрократического мироздания у Ф. Кафки. «В бюрократическом царстве действительное становится недействительным, а недействительное — действительным; вещи и люди плавают в сумеречной атмосфере призрачного бытия... У Кафки бюрократия — царство черного трагизма. Она с равнодушной жестокостью преследует все человеческое, человеку некуда податься, и, чем более он активен в сопротивлении, тем вернее затягивается петля на его шее. Кафка проникновенно угадывает исторически новые черты бюрократии террористической, на почве которой вырос фашизм».⁹⁷

⁹⁷ Днепров В. Идеи времени и формы времени. Л., 1980. С. 439.

Этот сдвиг в общественном сознании, знаменуемый прозой Кафки, симптоматичен и указывает, насколько изменилась в западноевропейской культуре легитимность принципа верховенства права. «У Диккенса бюрократизм — явление локальное, у Кафки — всеобщее. У Диккенса бюрократизм — перерождение государства, у Кафки — начало всех отношений. У Диккенса — зло специфическое, у Кафки — форма зла универсального, принцип зла как такового. Любой человек имеет, как на рисунке Гойи, два лица, и главное из них лицо чиновничье, — на поверку все оказываются в той или иной мере чиновниками».⁹⁸

Но если подобные процессы и не приводят к отрицанию самого института права как совершенно бесполезного в новых исторических условиях, то, как минимум, они оборачиваются противопоставлением, с одной стороны, государственно-правовой сферы, а с другой — сферы личностной экзистенции. Теперь, как следствие этого противопоставления, человек отчуждается от созданных им самим общественных институтов и учреждений, от построенного им самим исторического типа общества, которое подчиняет себе его свободу, нивелирует его индивидуальность. Сфера общественной жизни, включающая в себя и общеобязательные нормы права, становится сферой неподлинного бытия. Она лишена истинности, так как здесь человек неизбежно оказывается объектом чьих-то манипуляций, он рассматривается не в аспекте своей уникальности и неповторимости, а как один экземпляр человеческого рода наряду с другими. В то же время в сфере подлинного бытия человек опять же руководствуется не правом, а зовом совести, долгом, стремлением к лич-

⁹⁸ Там же. С. 441.

ной самореализации и иными, скорее, нравственными, а не юридическими категориями.

Еще раз подчеркнем, что данная ситуация не является плодом теоретического конструирования, которое можно было бы вменить, например, философии экзистенциализма во всех ее версиях, а отражает реальное положение дел. Антиюридический «пафос» марксизма не столько является закономерным следствием этой ситуации, сколько представляет собой в той или иной мере закамуфлированный отказ от попыток найти ответ на вызовы самой эпохи, с характерными для нее признаками господства монополий и бюрократического произвола. Чаще всего в марксизме, особенно в «советском марксизме» этот отказ выражается в конструировании морально-правового синкретизма, где различие между юридическими и нравственными нормами было бы нивелировано, а сами эти нормы были бы настолько расплывчато определены, что позволяло бы легко их подменять друг другом. С позиций такого синкретизма было удобно критиковать как распространенные в европейской культуре этические программы поведения за то, что они лишены характерной для права принудительности, так и сами правовые нормы за их формализм и «безнравственное» содержание. Однако притягательность этого синкретизма объясняется не только теоретической природой «советского марксизма», но и историческими особенностями русской правой культуры, в первую очередь ее неразвитостью.

В западном марксизме можно найти и иные формы решения проблемы соотношения морали и права. Один из вариантов — теория «двух этик» Г. Лукача, изложенная им в его переписке с Паулем Эрнстом и в набросках к книге о Достоевском. Борьба между первой и второй этикой образует у него главное содержа-

ние «этики революции». набросок последней выглядит так:

«1) должно ли мне пожертвовать самим собой?

2) Юдифь:

а) кто такой Бог?

б) что такое деяние?

Очевидность греха: только тому, для кого убийство — грех, дозволено убивать.

3) требование этического минимума;

4) проблема политики: в этике — трансценденция, в политике — действие;

5) абстрактное добро (любовь к человечеству): Люцифер и Параклет [Сатана и Спаситель]. Чернышевский о сострадании;

6) насилие: вечный мир как идеал; однако терпеть можно только желательное состояние. Проблема: имеет ли внешнее преобразование мира этическую ценность (трагедия Маркса как пророка). Отношение этики к иеговическому;

7) очевидность веры: а) незнание доктринера; б) знание в *credo quia absurdum* (еретик);

8) отступление субстанции из объективного духа; упразднение лжи. Михайловский: „Чувство личной ответственности за собственное общественное положение“. Отсюда: революция как долг (марксизм);

9) нельзя действовать без греха (но и недеяние есть деятельность = грех). [: положение:] Утверждение иеговического (против Толстого). „Собственный“ грех (жертва чистоты);

10) совершенная прозаичность. Нам не дано знать».⁹⁹

⁹⁹ Комментированные фрагменты рукописи книги «Достоевский» // Лукач Г. Ленин и классовая борьба. М., 2008. С. 46–47.

Если первая этика предполагает обязанности по отношению к институтам, то вторая этика основывается на «императивах души». Революционер — это человек, душа которого сориентирована не на себя, а на человечество. «Истинной жертвой революционера, стало быть, является (буквально): принести в жертву свою душу: из 2-й этики сделать лишь 1-ю. (Маркс: не пророк, а ученый). Опасность: фарисейство (реальная политика). В другом случае: этический романтизм. Необходимое, но не позволенное преступление — индивидуальное и коллективное преступление. Неизбежный грех: нельзя [убивать], но [убивать] надо».¹⁰⁰ Революционер, как и Раскольников Достоевского, наделяется правом на преступление. «Периферическое в государстве как ослабление „признания“ „закона“ и „долг“ „бунта“ против него, пишет Лукач в заметке № 31 под рубрикой „Преступление“. — Поэтому государственный комплекс в целом может проходить по линии иеговического (естественный закон). [Под „иеговическим“ Лукач понимает все аналоги безжалостного и формального „Закона“, который правоверные евреи возводили к своему Богу Иегове. Противоположностью иеговического в этике Лукача является люциферическое, отмеченное бунтом против Иеговы] — Террорист как герой, чья сущность выражается в виде бунта против этого иеговического — но если вдруг борьба против Иеговы имеет своим центром нечто другое? (Иеговическое в системе права: русское понимание: преступник как „несчастный“; также критика юстиции в „Воскресении“ Толстого».¹⁰¹ Лукач рождение «этики

¹⁰⁰ Там же. С. 43.

¹⁰¹ Там же. С. 43—44.

революции» связывает именно с русской культурой, усматривая именно в этом ее всемирно-историческое значение. «Русское понятие преступления, — пишет он в заметке № 64 — а) преступник — несчастный; б) законодатель как преступник: всякая пролитая кровь есть преступление (Раскольников I 422). Это упразднение объективного духа: линия Толстого. Переосмыслить опыты Достоевского: преступление как метафизически существующее и очевидность сознания (лишь атеизм затуманивает это: невозможные преступления Мышкина II 29). Тем самым часть объективного духа становится абсолютным духом, — а другая часть тонет в бессущественности (подобно тому как у Толстого семья etc. становится природой).¹⁰²

В целом можно утверждать, что концепция «двух этик» Г. Лукача основывается на юридическом нигилизме, допускающем, в конечном счете, нравственное и историческое оправдание преступления. Возвращаясь к противопоставлению государственно-правовой сферы сфере личностного существования, следует отметить, что последняя представляла для него гораздо более значительный интерес. Отвечая на замечание Пауля Эрнста, что «идея государства, или идея семьи, или идея права кажутся мне существующими в той же малой степени, что и любые другие овеществления существительного или прилагательного»,¹⁰³ Г. Лукач пишет: «Проблема состоит именно в том, чтобы найти пути от души к душе. А все остальное — лишь инструментарий, лишь подспорье. Я считаю, что очень многие конфликты исчезли бы, если бы обеспечивался аб-

¹⁰² Там же. С. 44.

¹⁰³ Пауль Эрнст — Георгу Лукачу. Гейдельберг (Ораниенбург, 28 апреля 1915 г.) // Лукач Г. Ленин и классовая борьба. С. 37.

солютный приоритет этой области над производными областями (над правами и обязанностями, которые следует выводить из этически интериоризированных институтов). Не для того, естественно, чтобы сделать жизнь совершенно бесконфликтной, а с тем, чтобы конфликтом становилось лишь то, что ставит душу на распутье. Я отнюдь не отрицаю, что существуют люди, чьи души — по меньшей мере отчасти — укладываются в объективный дух и его институты. Я протестую лишь против того, что эти отношения рассматриваются как нормативно существенные, что они выступают с претензией, будто каждый должен связать с ними судьбу своей души».¹⁰⁴ Очевидно, что аналогичной позиции Лукач придерживался и позже, о чем свидетельствует тот факт, что он вступился перед вождем коммунистов Венгрии Я. Кадаром за преследуемых спецслужбами инакомыслящих Д. Далоша и М. Харати. «Должен тебе сказать со всей серьезностью, что, по моему мнению, в данном случае органы государственной власти совершили большую политическую ошибку и определенно пошли против закона. Прежде всего потому, что из документов, обосновывающих необходимость полицейского надзора, явственно следует, что данные лица были помещены под полицейский надзор за *выражение своих взглядов*. Если бы они совершили что-то другое, против них было бы открыто дело по закону и это входило бы в обязанность компетентных органов. Если же кого-либо помещают под полицейский надзор за выражение не антисоциалистических принципов (какими бы сумбурными и ошибочными они ни были), это означает

¹⁰⁴ Георг Лукач – Паулю Эрнсту. Ораниенбург (Гейдельберг, 4 мая 1915 г.) // Лукач Г. Ленин и классовая борьба. С. 39.

возвращение к методам времен Ракоши, уже завтра может стать привычным делом помещать подобным образом под надзор полиции любого, кто своими идеями вызывает неприязнь или провоцирует идеологическую дискуссию».¹⁰⁵ Произвол органов государственной власти (выполняющих между прочим, волю «императора-революционера») должен быть ограничен свободой выражения взглядов, которые могут не только провоцировать дискуссию, но и вызывать неприязнь. Но до сих пор история знала только один механизм такого ограничения — право.

Отметим, что такое понимание права обнаруживается и в классическом марксизме. «Свобода настолько присуща человеку, что даже ее противники осуществляют ее, борясь против ее осуществления... Во все времена существовали, таким образом, все виды свободы, но только в одних случаях — как особая привилегия, а в других — как всеобщее право».¹⁰⁶ Эта формула не только выражает классическое марксистское понимание смысла истории, движущейся от свободы как особой привилегии немногих к свободе как праву каждого, но и недвусмысленно указывает на двойственное положение права в социальной теории марксизма. С одной стороны, право — это форма оправдания свободы как привилегии для немногих, и такое право обречено на уничтожение. С другой стороны, право есть действительность идеи свободы каждого, и за таким правом будущее. Понимание природы государства связывается именно с таким

¹⁰⁵ 171/Е. Дёрдь Лукач — Яношу Кадару. 15 февраля 1971 г., Будапешт // Переписка Дёрдя Лукача и Яноша Кадара по делу Харасты—Далоса, 1971 г. // Звезда. 2011. № 3. С. 98.

¹⁰⁶ Маркс К. Письмо к Руге (сентябрь 1843 г.) // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 380.

пониманием права. Государство есть «великий организм, в котором должны осуществиться правовая, нравственная и политическая свобода, причем отдельный гражданин, повинаясь законам государства, повинуется только естественным законам своего собственного разума, человеческого разума».¹⁰⁷ Таким образом, свободный человек умирает в праве, понятом как способ оправдания свободы в качестве привилегии для немногих, но свободный человек находит свое подлинное существование в свободе как всеобщем праве каждого. Право, основанное на таком понимании свободы, должно не утрачивать своей организующей, принудительной силы, но оно же должно быть и сферой подлинного существования человека, оно должно гарантировать ему не только безопасность, но и понимание.

Можно только догадываться, каким должно быть право, руководствующееся принципом свободы каждого как непреложным императивом. Возможно, это действительно может быть ситуация, когда справедливое решение не будет требовать правовой формы. Основа справедливого решения, так же как и его предпосылки и его цель, находится в самом конфликте, в его содержании. Если любые ситуации, в которых оказывается человек, являются порождением его индивидуальной духовной жизни, то ни одна такая ситуация не может повторяться. В таком случае можно представить и такое отношение права и закона, когда они не только различаются, не только противостоят друг другу, но и друг друга исключают. Право рождается в данной конкретной ситуации, а не выводит-

¹⁰⁷ *Маркс К.* Передовица в № 179 «Кельнской газеты» (14 июля 1842 г.) // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 1. С. 112.

ся дедуктивно из нормы закона. И если конфликт разрешает некая инстанция, аналогичная суду, то ее действия ограничиваются лишь процессуально, а не материально (если воспользоваться актуальной юридической терминологией). Такое право есть абсолютная противоположность праву прецедента, и если на вышеупомянутую инстанцию возложить обязанность нестандартного, творческого и потому справедливого разрешения любого конфликта, то прецедент, то есть обращение к стандарту решения, следует исключить. «Именно произведение или действие индивидуума раскрывает нам тайну его обусловленности. Флобер, избравший литературное творчество, открывает нам смысл своего детского страха смерти, а не наоборот. Современный марксизм, не признающий этих принципов, лишил себя возможности понять значения и ценности, ибо сводить значение объекта к чистой инертной материальности самого этого объекта столь же абсурдно, как и пытаться вывести право из факта. Смысл поступка и его значимость могут быть постигнуты только в перспективе через движение, которое реализует возможности, разоблачая данное. Человек является для самого себя и для других существом значащим, так как ни один из его поступков нельзя понять, не превосходя чистое настоящее и не объясняя его через будущее».¹⁰⁸

И если это так, если право должно гарантировать каждому свободу, гарантировать не только безопасность, но и понимание, то право не должно реализовывать себя через институты, действующие посредством человека, вместо того чтобы благодаря этим институтам человек действовал сам. Кроме того, предпола-

¹⁰⁸ Сартр Ж.-П. Проблемы метода. М., 2008. С. 141.

гая, что такое действие направлено на самораскрытие сущностных сил человека, право не должно ограничивать их лишь физическим существованием индивида, так как для самораскрытия этих сил не менее, а скорее и более важным является духовное бытие личности. Возможно, прообраз такого расширенного понимания права марксизм опять-таки, вслед за Г. Лукачем, мог бы найти в русской культуре, в словах героя романа Ф. М. Достоевского: «Убивать за убийство — несоизмеримо большее наказание, чем само преступление. Убийство по приговору несоизмеримо ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу или как-нибудь, непременно еще надеется, что спасется, до самого последнего мгновения... А тут всю эту последнюю надежду, с которой умирать в десять раз легче, отнимают наверно; тут приговор, и в том, что наверно не избежнешь, вся ужасная-то мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете».¹⁰⁹ Если видеть в этих словах не только довод против смертной казни, то следует признать, что право, в котором наряду с физической безопасностью охраняется и духовное бытие личности, должно радикально пересмотреть традиционные представления о справедливости. И такая переоценка вовсе не обязательно совершается в сторону смягчения ответственности, так как в том основанном на принципах самоуправления, самоорганизации обществе, которое в различных версиях марксизма наделяется статусом социального идеала, функции правового надзора могут быть значительно расширены, и свидетелям преступления, не предотвратившим его, может вменяться определенная степень соучастия.

¹⁰⁹ Достоевский Ф. М. Идиот. М., 1981. С. 21—23.

Впрочем, здесь мы оказываемся в области предположений, которые всегда имеют в той или иной степени утопический характер. Тем не менее из вышесказанного можно сделать по крайней мере один довольно осторожный вывод. Расхожее представление, что марксизм и принцип верховенства права несовместимы теоретически, так как для марксистской социальной теории право является лишь исторически ограниченной и обреченной на гибель формой буржуазного мировоззрения, — такое представление является односторонним и неполным. Наряду с пониманием права как формы закрепления привилегий господствующего класса как в классическом марксизме, так и в более поздних, «неомарксистских» концепциях существует концепция права как гарантии свободы каждого. И в этих случаях принцип верховенства права приобретает статус одного из фундаментальных принципов марксистской теории.

Теоретическое содержание позиции, названной нами условно как «коммунистический антисталинизм», этими общими доводами, разумеется, не исчерпывается. Но экономические корни сталинизма, выявляющие одновременно и его историческую необходимость и его историческую ограниченность, представляют собой, безусловно, один из важнейших аспектов содержания этой позиции. Что касается отношения к сфере права, то следует сказать, что, во-первых, именно в этой сфере раскрываются в период сталинизма самые трагические страницы советской истории, а во-вторых, эта трагедия и по сей день не завершилась в отечественной культуре очистительным страданием, катарсисом, что является верным признаком того, что причины, ее породившие, не утратили своей силы.

2.2. Леворадикальные проекты критики советского исторического опыта (маоизм, либертарный социализм)

Теперь следует обратиться к двум иным позициям по отношению к тому разрыву между коммунизмом и сталинизмом, о котором речь шла в предыдущем разделе. Мы эти позиции условно обозначили как коммунистический сталинизм и антикоммунистический антисталинизм, и уже из этих обозначений видно, что данные позиции представляют собой противоположность друг другу. Необходимо еще раз подчеркнуть, что позиция, названная нами «коммунистический сталинизм» характеризует попытку (или множество попыток) восстановить разорванное тождество, что само по себе аналогично знаменитой невозможности Гераклита «дважды войти в один и тот же поток». Эта позиция не имеет отношения к ситуации до разрыва коммунизма и сталинизма, когда тождество между ними, выражаясь языком гегелевской диалектики, было нерелексивным. В истории мирового коммунистического движения можно обнаружить немало примеров, олицетворяющих данную позицию, но, вероятно, мало кто смог бы возразить, что наиболее грандиозным ее воплощением является маоизм. Разумеется, под этим понятием следует понимать не только соответствующую теорию и практику в самом Китае послевоенных десятилетий, но и варианты ее оправдания и обоснования, выдвигавшиеся некоторыми представителями западноевропейского марксизма.

В 60-х годах XX века протестное движение в Западной Европе развивалось главным образом под лозунгами неомарксизма. На первый план в этом движении выдвигалась критика К. Марксом капиталистической

действительности, тогда как позитивное научное содержание его учения нередко оставалось невостребованным. Особая роль в протестном движении отводилась молодежи. Недемократичность университетов, отставание учебного процесса от реальных проблем, ограниченность финансирования высшего образования, перспектива безработицы для выпускников — эти и иные проблемы трактовались в неомарксизме таким образом, чтобы радикализировать настроения молодежи. Создавался образ университета как охранительного института, нацеленного прежде всего на воспроизводство буржуазного общества. Академические курсы, отличавшиеся косностью и устарелым содержанием, отталкивали студентов, и в противовес им неомарксистская и социально-критическая литература завоевывала в молодежной среде все бóльшую популярность. Среди наиболее притягательных ориентиров выделялись работы Г. Лукача, особенно «История и классовое сознание», «Экономическо-философские рукописи» К. Маркса и новые интерпретации классических марксистских текстов, предложенные Л. Альтюссером. В это же время в ареопаге классиков марксизма прочно обосновался и Мао Цзедун.

Развертывание «культурной революции» в Китае представлялось тогда многим левым интеллектуалам на Западе как грандиозное восстание народных масс против власти. Поэтому протестное движение, особенно после майского студенческого бунта во Франции, обретает отчетливые черты «марксизма в маоистском стиле». Китайская «культурная революция», масштабное вторжение масс на сцену истории, а также некоторые иные события показали, как полагали многие неомарксисты, что массы стихийно могут действовать в ключе революционной практики и без знания осно-

вополагающих работ Маркса и Ленина. Более того, революционные массы не только самостоятельно производят огромное количество новых идей, но и начинают их систематизировать, начинают обобщать свой политический опыт. «Марксизм в маоистском стиле» означает, что революционные движения вполне могут обходиться без марксистской теории и опираться только на практику классовых войн. В новых революционных столкновениях теория оказывается «по ту сторону баррикад», она становится послушным инструментом власти, опорой тоталитаризма. В духе маоистской культурной революции звучало утверждение, что любая наука направлена против народа, что всех ученых следует ненавидеть, что впредь следует стараться мыслить не только не прибегая к помощи науки, но и мыслить против науки. Понятно, что идеология студенческих бунтов обнаруживала много родственного в маоистских идеях культурной революции.

Революция рассматривалась как выражение акта свободы, она не имеет причин, и может иметь любые следствия. Поэтому теория революции, объясняющая ее причины и предсказывающая ее следствия, невозможна. Вместо такой теории необходимо культивировать дух восстания против любого порядка, любой рационально организованной системы. Для западных интеллектуалов коммунистический Китай стал символическим воплощением иррационального духа свободы, средоточием всего антибуржуазного и антизападного, абсолютной противоположностью капиталистической Европы. Культурная революция, расправа Мао Цзедуна над своими противниками, осуществленная руками воинствующей молодежи, стала на Западе образцом протеста против буржуазного авторитаризма, против общества производства и потребления.

Среди западноевропейских интеллектуалов, попытавшихся идейно возглавить этот новый этап протестного движения, вполне закономерно оказался и Ж.-П. Сартр. Редактируемый Сартром журнала «Тан модерн» не скрывал своих симпатий по отношению к маоистскому Китаю. Еще в 1955 году Сартр и Симона де Бовуар предприняли путешествие в Китай. В сентябре 1956-го вышел специальный номер журнала «Тан модерн» «Китай вчера и сегодня», а еще через год — книга Симоны де Бовуар «Долгий путь», описывавшая впечатления от этого путешествия. «Разумеется, Китай — это далеко не рай, он должен стать более богатым и более свободным; но если беспристрастно рассмотреть, откуда он вышел и где он находится, можно констатировать, что он воплощает собой исключительно волнующий момент истории: момент, когда человек вырывается из своей имманентности, чтобы завоевать человеческое. (...) Жизнь все еще отягощена всеми бедствиями... но она открыта будущему без границ».¹¹⁰ Отвечая на вопрос о репрессиях в ходе маоистской культурной революции, Сартр ссылается на книгу Ж. Паскалини о китайских лагерях¹¹¹ и утверждает: «Но я думаю, что концентрационный феномен в Китае намного меньших масштабов, чем в СССР, даже если он несомненно страшен».¹¹²

«Марксизм в маоистском стиле» подразумевал и соответствующую интерпретацию опыта социалистического строительства в СССР. В самом Китае идеи культурной революции возникли не на пустом месте,

¹¹⁰ Цит. по: *Сидоров А. Н.* Жан-Поль Сартр и либертарный социализм во Франции. М., 2006. С. 89.

¹¹¹ См.: *Куртуа С., Верт Н., Панне Ж-Л., Пачковский А. и др.* Черная книга коммунизма. М., 2001.

¹¹² *Sartre J.-P.* Situations X. Paris, 1964. P. 221.

так как ей предшествовала политика так называемого «большого скачка». Начиная с мая 1958 года Мао Цзэдун и руководство КПК объявляет о курсе форсирования темпов развития экономики, который не мог не сопровождаться резким снижением жизненного уровня населения. Китай не располагал и не мог располагать необходимыми материальными и финансовыми возможностями для осуществления политики «большого скачка». Будучи вынужден пойти на существенное ограничение потребления, Мао Цзэдун выдвигает концепцию «бедности». В 1958 году была опубликована его статья «Об одном кооперативе», где бедность объявлялась одной из наиболее характерных особенностей Китая, и эта особенность является не только бедствием, но и преимуществом. «Помимо прочих особенностей шестисотмиллионное население Китая заметно выделяется своей бедностью и отсталостью. На первый взгляд это плохо, а фактически хорошо. Бедность побуждает к переменам, к действиям, к революции. На чистом, без всяких помарок листе бумаги можно писать самые новые, самые красивые иероглифы, можно создавать самые новые, самые красивые рисунки».¹¹³ Бедность обладает необходимым для революционной практики потенциалом, она рождает самоотверженность и мужество. Причины побед и поражений революционной борьбы заключаются не в наличии или отсутствии материальных стимулов, а в правильности политической и военной линии.

Этот революционный потенциал бедности был, согласно маоистам, предан забвению в СССР и иных странах, строящих социализм по советскому образцу. Пытаясь положить в основу социализма принцип

¹¹³ Мао Цзэдун. Выдержки из произведений. Пекин, 1967.

материальной заинтересованности, «советский ревизионизм» отказался от опоры на энтузиазм масс и растворил подлинные принципы революционной теории в стихии мелкобуржуазности. На СССР была возложена и ответственность за очевидные катастрофические последствия политики «большого скачка». Отношения со всеми странами социалистического блока у КНР резко обострились к началу 60-х гг., и маоистское руководство было вынуждено сделать следующий шаг, провозгласив курс «опоры на собственные силы». Следует учитывать, что в истории Китая 1958—1961 годы считаются «Тремя годами стихийных бедствий» или «Тремя горькими годами», так как в эти годы в КНР разразился массовый голод, унесший даже по самым оптимистичным подсчетам 15—20 миллионов жизней. Историки сходятся во мнении, что этот голод стал следствием политики «большого скачка», следствием создания огромных «народных коммун» и безграмотных экспериментов в земледелии. В то же время существенную роль, несомненно, играли и природные катаклизмы — наводнение 1959 года, унесшее жизни 2 миллиона человек, и засуха 1960 года, охватившая 55 % обрабатываемых земель. Вероятно, Мао Цзэдун и руководство КПК могли рассчитывать на помощь социалистических стран, которая не последовала, так как в 1961 году было принято решение о закупках зерна в Канаде и Австралии. В то же время в эти годы КНР исправно выполняла свои обязательства по поставкам зерна в СССР, а в Албанию, Северный Вьетнам и Северную Корею китайский рис поставлялся бесплатно.

В этот момент в недрах идеологической машины маоизма начинает формироваться негативный образ СССР и негативная оценка советского опыта социалистического строительства. Так, в заявлении делегации

КПК на встрече коммунистических партий в Бухаресте (июнь 1960 года) руководству КПСС выдвигаются претензии пока еще исключительно тактического характера.¹¹⁴ Делегация КПСС выдвинула свой проект итогового Коммюнике без предварительных консультаций с делегацией КПК. В то же время делегация КПК заявляет, что в позиции КПСС и лично Н. С. Хрущева есть определенные моменты, свидетельствующие об отступлении от принципов марксизма. Но какие это моменты, делегация КПК умалчивает, заявляя, что при сохранении свободы дискуссий внутри коммунистического движения, при строгом соблюдении принципов равноправия, товарищества и интернационализма эти моменты могут быть устранены.

Первый пункт расхождений был объявлен лишь в конце 1960 года Объектом критики со стороны КПК послужил взятый после XX съезда КПСС курс на мирное сосуществование двух политических и экономических систем. «Считать, что еще до уничтожения человечеством классов можно навсегда избежать войны, было бы всего-навсего лишь наивной иллюзией».¹¹⁵ Затем объектом критики становится высказывавшееся некоторыми партийными идеологами СССР утверждение, что на определенном этапе социализма необходимость в диктатуре пролетариата отпадает, природа социалистического государства меняется, и оно становится общенародным государством. Эти утверждения воспринимаются в руководстве КПК как признак пересмотра фундаментальных положений

¹¹⁴ Полемика о генеральной линии международного коммунистического движения. Пекин, 1965. С. 120—122.

¹¹⁵ «Жэньминь жибао». 7 октября 1960 г. Цит. по: Идеино-политическая сущность маоизма. М., 1977. С. 344.

ний марксистского учения о государстве, как очередное доказательство «ревизионистской линии» КПСС. «С точки зрения марксистов-ленинцев, неклассового или надклассового государства не существует. Государство как таковое всегда носит классовый характер: пока существует государство, оно не может быть «общенародным». Как только в обществе не станет классов, перестанет существовать и государство. Что же тогда представляет собой так называемое «общенародное государство»? Всем, кто обладает элементарными знаниями марксизма-ленинизма, известно, что так называемое «общенародное государство» не является чем-то новым. Представители буржуазии всегда называли буржуазное государство «всенародным государством» или «государством народовластия». Кое-кто, может быть, и скажет, что у них-де уже бесклассовое общество. А мы отвечаем, что нет и что во всех без исключения социалистических странах существуют классы и классовая борьба. Поскольку там еще есть элементы — остатки старых эксплуататорских классов,— которые пытаются осуществить реставрацию, поскольку там постоянно рождаются новые буржуазные элементы, поскольку там еще существуют паразиты, спекулянты, тунеядцы, хулиганы, казнокрады и т. п., то как можно заявлять, что там нет классов и классовой борьбы? Как можно заявлять, что диктатура пролетариата перестала быть необходимой?»¹¹⁶

Объектом критики становится в это же время и развернувшаяся в СССР идеологическая кампания

¹¹⁶ Предложение о генеральной линии международного коммунистического движения. Ответ Центрального комитета Коммунистической партии Китая на письмо Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза от 30 марта 1963 года // «Правда». № 195 (16416). 14 июля 1963 г. С. 5—7.

борьбы против культа личности Сталина. Эта кампания также оценивается как пересмотр ленинского учения о вождях и массах, как признак «ревизионистского» отклонения от фундаментальных принципов марксизма. В СССР эта кампания привела, с одной стороны, к созданию негативного образа коммунистической партии, а с другой — к тому, что все ошибки стали перекладываться на отдельных личностей. В то же время руководство КПК уже не может не признать, что в деятельности Сталина имело место некоторые ошибки, как принципиальные, так и второстепенные. «По ряду вопросов Сталин в методе мышления отклонялся от диалектического материализма, впадал в метафизику и субъективизм, и, следовательно, он иногда отрывался от объективной действительности, отрывался от масс. В ходе борьбы внутри и вне партии Сталин иногда в некоторых вопросах смешивал два различных по своему характеру вида противоречий — противоречия между врагами и нами и противоречия внутри народа, смешивал различные методы разрешения этих двух видов противоречий. В ходе проводившейся под руководством Сталина борьбы по искоренению контрреволюции были справедливо наказаны многие контрреволюционеры, которых нужно было наказать, но вместе с тем были ошибочно осуждены и невинные люди, таким образом в 1937 и 1938 годах были допущены ошибки — перегибы в борьбе с контрреволюцией. В партийной и государственной жизни Сталин не в полной мере проводил или частично нарушал пролетарский принцип демократического централизма. Он допускал некоторые ошибки и в отношениях с братскими партиями и братскими странами. В международном коммунистическом движении он давал также некоторые ошибочные советы. Все эти ошибки нанесли известный ущерб

Советскому Союзу и международному коммунистическому движению». ¹¹⁷ Видимо, как раз субъективизм и метафизика в методе мышления Сталина и привели к тому, что он смешивал два типа противоречий и, как следствие, принимал за врагов тех, кто на самом деле врагом не был. Эти ошибки имели характер «перегибов» в целом верной политики террора против сил контрреволюции, то есть были ошибками количественными, а не качественными.

Связывая «ревизионистскую» линию КПСС с личностью Хрущева, Мао Цзэдун видит в борьбе с «китайским Хрущевым» одну из важнейших задач разворачивающейся «великой китайской культурной революции». «Председатель Мао Цзэдун указывает: Представители буржуазии, пролезшие в партию, правительство, армию и различные сферы культуры, представляют собой группу контрреволюционных ревизионистов. Они готовы при первом удобном случае захватить власть в свои руки и превратить диктатуру пролетариата в диктатуру буржуазии. Одних из этих людей мы уже распознали, других — еще нет, а третьи все еще пользуются нашим доверием и готовятся в качестве нашей смены. К примеру, люди, подобные Хрущёву, находятся бок о бок с нами. Партийные комитеты всех ступеней должны отнестись к этому с полным вниманием. Нынешняя Великая культурная революция проводится лишь первый раз. В дальнейшем она обязательно будет проводиться много раз. В последние годы Председатель Мао Цзэдун часто указывает, что для решения вопроса „кто кого“ в революции

¹¹⁷ Вопрос о Сталине // Полемика о генеральной линии международного коммунистического движения. Пекин, 1965. С. 125–148.

потребуется очень длительный исторический период. При неправильном решении этой задачи в любой момент может произойти реставрация капитализма. Никто из членов партии и народа не должен думать, что после одной-двух или трех-четырёх великих культурных революций все будет благополучно».¹¹⁸ На борьбу с внутренним «ревизионизмом» был нацелен лозунг «Огонь по штабам» и агрессивная деятельность «красногвардейцев»-хунвэйбинов и «рабочих бунтарей»-цзаофаней. Однако, оценивая социально-политические процессы в СССР 50–60-х годов, Мао Цзэдун явно преувеличивает роль Хрущёва. Дело в том, что решающим фактором инициированных после смерти Сталина политических кампаний, включая в первую очередь критику культа личности, было стремление закрепить решающую политическую роль за партийным аппаратом, освободить его от какого-либо контроля, обезопасить от возможных репрессий. И после смещения Хрущёва эта тенденция ни в коей мере не корректировалась, скорее наоборот, укреплялась. С этой точки зрения любопытно отметить, что китайская культурная революция знаменовала собой обратную тенденцию, она имела явно выраженную направленность против партократии, и, если беспристрастно оценивать события истории КНР первой половины 70-х годов, завершилась в конечном счете победой партийного и чиновничьего аппарата.

В настоящее время в КПК нет единой точки зрения на причину отклонений КПСС от принципов

¹¹⁸ Великий исторический документ (16 мая 1966 г.) // Редакционная статья журнала «Хунци» и газеты «Жэньминь жибао». Цит. по: *Делюсин Л. П.* Культурная революция в Китае. М., 1967. С. 23.

марксизма, отклонений, которые, в конце концов и привели к краху СССР. По-прежнему распространена точка зрения, согласно которой такой причиной является «ревизионистская» политика руководства КПСС во главе с Хрущёвым. В то же время на официальном уровне высказывается убеждение, что такой причиной стала «структура, созданная при Сталине». Под такой структурой понимается гипертрофированное развитие тяжелой промышленности, «нарушение прав человека, вплоть до лишения людей права на жизнь», недемократический характер власти в СССР. Любопытно, что такая точка зрения нередко высказывается в том контексте, что эту «структуру, созданную при Сталине», СССР навязал КНР, и поэтому именно СССР должен нести ответственность за все бедствия, происходившие в КНР в 60—70 годах.¹¹⁹

Оценивая в целом маоистские интерпретации советского исторического опыта, следует признать, что если даже они и предполагают негативную оценку сталинизма, то в любом случае методология этих интерпретаций уходит своими корнями в сталинский субъективизм и догматизм. Приверженность руководства КПК в приведенных выше документах слишком очевидна, чтобы возникла необходимость исследовать историческое происхождение этой приверженности. Политика «большого скачка» была полностью осмыслена и реализована исключительно по образцу сталинской индустриализации и коллективизации. Тот факт, что к условиям Китая 50—60-х годов этот образец был неприменим, логически вел к краху этой политики и, поскольку приверженность догмам со-

¹¹⁹ См.: Галенович Ю. М. Китайские поминки по КПСС и СССР. М., 2011.

хранялась, к радикализации того же самого метода действий.

Решающее отклонение сталинизма и маоизма от классического марксизма следует видеть в упрощенном, вульгаризированном понимании соотношения теории и практики, особенно в том аспекте этого понимания, который касается принципов организации управленческого аппарата и принципов государственного строительства. Как, например, свидетельствуют последние работы Ленина, принципы организации аппарата рождаются на основе анализа новых ситуаций и тенденций общественного развития. Но Сталиным это соотношение переворачивается. Принципы организации аппарата власти утверждены как нечто безусловное, а анализ новых ситуаций выступает как исключительно пропагандистская задача, направленная на обоснование и оправдание действий власти. Отсюда та роль, которую в сталинском СССР и в маоистском Китае начинают играть цитаты «классиков». Отсюда же и в высшей степени произвольное обращение с фактами. И сталинизм и маоизм достигают такого разрыва практики и теории, когда социальная действительность становится «немой», поскольку для многих явлений не находится соответствующего термина в идеологическом аппарате. И эта же «немота» действительности оборачивается катастрофами, которые власть предпочитает не замечать, поскольку в соответствии с догмой теории эти катастрофы не должны были произойти.

Удивительным примером такой теоретической слепоты служит тот факт, что в то время, когда руководство КПК рассылало письма с адресованными СССР упреками в вызванном доктриной мирного сосуществования трусливом заискивании перед миро-

вым империализмом, именно СССР, а не КНР проявил себя в качестве решительного защитника Кубы от возможной интервенции со стороны США.

Сущность связи сталинизма и маоизма является важной теоретической проблемой для дальнейшего развития марксистской теории. И сегодня остается актуальным требование Г. Лукача: «Теоретическое контрнаступление, война сталинско-китайскому сектантству должны стать практически-политическим требованием дня. Но безусловной предпосылкой этого контрнаступления является радикальное теоретическое сведение счетов с сектантством как системой мышления... Китайская же платформа вводит теоретически в международную жизнь один из самых пагубных принципов сталинской практики: абстрактное и догматическое прославление состояния гражданской войны как единственной альтернативы оппортунизму и капитулянтству. Далекая от жизни абстрактность подобной сектантски выдуманной альтернативы должна быть сегодня теоретически опровергнута именно для того, чтобы ясно понять, какие вопросы могут быть решены методами гражданской войны, а какие только средствами долгой эволюции».¹²⁰ Теоретическое опровержение и этой альтернативы, и той платформы, на которой она воспроизводится всякий раз в новых формах, остается актуальной задачей и в начале XXI века.

Поэтому заслуживает особого внимания и опыт критики советского исторического опыта, разворачивающейся с абсолютно противоположной позиции. Эту позицию мы условно обозначили как «антикоммунистический антисталинизм». Мы отдаем себе отчет, что

¹²⁰ Лукач Г. По поводу дебатов между Китаем и Советским Союзом // Философские науки. 1989. № 6. С. 109.

исключительно с формальной стороны к этой позиции могут быть отнесены все варианты немарксистской критики советского социализма. Но нас в данном случае интересует эта позиция только в той мере, в какой она предполагает обращение к Марксу, то есть, иными словами, если использовать несколько громоздкое выражение, нас интересует лишь «марксистский антикоммунистический антисталинизм». Впрочем, употреблять это выражение нет необходимости, так как в истории западноевропейского марксизма типологически сходная позиция уже была обозначена и получила название «либертарный социализм».

Термин «либертарный социализм» нечасто употребляется в научной и публицистической литературе, и поэтому нам представляется необходимым сделать на этот счет некоторые разъяснения. В широком смысле под либертарианством принято понимать политическую философию, исходящую в своих умозаключениях из абсолютного запрета на применение силы по отношению к личности не только со стороны других индивидов, но и со стороны государства. Предполагается, что такой запрет должен быть не только нравственным, но и правовым, и, соответственно, его нарушение должно преследоваться. Частным случаем либертарианства можно считать доктрину *Laissez-faire*, учение о невмешательстве государства в экономику, или об ограничении такого вмешательства жесткими рамками, и как следствие о сведении его к минимуму.

Хотя чаще всего политическую философию либертарианства относят к идейному арсеналу либерализма, следует заметить, что и вся история социалистической мысли пронизана противостоянием двух направлений: авторитарного и либертарного. Следы такого противостояния можно обнаружить уже при создании

Первого Интернационала, например в спорах Маркса и Бакунина. Затем либертарианские тенденции дают о себе знать и в самом марксизме: например в отрицании идеи о необходимости партии профессиональных революционеров, или в критике представлений о социалистическом государстве как о пролетарском государстве, тогда как на самом деле бюрократическое перерождение привело к тому, что при «реальном социализме» трудящиеся эксплуатируются бюрократией и т. д. В западноевропейских странах идеи либертарного социализма нашли наиболее последовательное воплощение в левых движениях Франции, в разнообразных формах социально-политической деятельности гошистов, особенно в ориентирующейся на троцкизм группе «Социализм или варварство», а также в маоистской группе «Пролетарская левая», не говоря уже о различных радикальных организациях. Особое значение имеет тот факт, что к этим группам в разное время имели отношение Ж.-П. Сартр, К. Кастириадис, К. Лефор, — политические мыслители и идеологи, которых мы и будем рассматривать как наиболее типичных представителей либертарного социализма.

Возникновение этих групп относится к послевоенному времени, то есть, к времени, когда опыт социалистического строительства в СССР насчитывал уже не одно десятилетие. Поэтому критическая оценка этого опыта занимала в построениях теоретиков либертарного социализма одно из центральных мест. Исходным пунктом этой оценки служил разрыв с троцкизмом, который, как полагали, в частности, К. Кастириадис и К. Лефор, не способен объяснить ни природу СССР, ни природу коммунистических партий. Коммунистические партии европейских стран, являвшиеся, по мнению троцкистов, реформистскими буржуазными

партиями, на самом деле обнаружили в послевоенное время явное стремление захватить власть и установить режим советского типа, то есть, совершенно не склонялись к реформизму. Оценивая эти послевоенные реалии, Касториадис приходит к выводу, что в СССР образовалось не «выродившееся рабочее государство», как считал Троцкий, а «тотальный и тоталитарный бюрократический капитализм», при котором власть принадлежит новому господствующему классу — бюрократии. В 1949 году в журнале «Социализм или варварство» была напечатана статья К. Касториадиса «Производственные отношения в России», нацеленная на анализ бюрократического капитализма.¹²¹ Тот факт, что общественный строй СССР и его сторонники и его противники называют социализмом, на самом деле служит для советской бюрократии оправданием ее господствующего положения, а для западной буржуазии одним из наиболее эффективных способов дискредитации социалистических идей. Касториадис детально разбирает тот аргумент, что, несмотря порождающее неравенство распределение доходов в СССР, организация производства остается все же по своему характеру социалистической. Он утверждает, что организация производства и распределение взаимосвязаны, и что если характер распределения является буржуазным, то и организация производства не может быть социалистической. Из этого следовал и более общий вывод относительно природы советского государства. Л. Троцкий в своей знаменитой книге «Преданная революция» утверждал, что государственный строй СССР — это «выродившееся рабочее госу-

¹²¹ *Castoriadis C. Les rapports de production en Russie // La société bureaucratique. T. 1. P. 205–282.*

дарство» с элементами социализма. Он указывал и на причины такого вырождения: «Если государство не отмирает, а становится все деспотичнее; если уполномоченные рабочего класса бюрократизируются, а бюрократия поднимается над обновленным обществом, то не по каким-либо второстепенным причинам, вроде психологических пережитков прошлого и пр., а в вину железной необходимости выделять и поддерживать привилегированное меньшинство, доколе нет возможности обеспечить подлинное равенство. Тенденции бюрократизма, душащие рабочее движение капиталистических стран, должны будут везде сказаться и после пролетарского переворота. Но совершенно очевидно, что чем беднее общество, вышедшее из революции, тем суровее и обнаженнее должен проявить себя этот „закон“; тем более грубые формы должен принять бюрократизм; тем большей опасностью он может стать для социалистического развития. Не только отмереть, но хотя бы освободиться от бюрократического паразита препятствуют советскому государству не бессильные сами по себе „остатки“ господствовавших ранее классов, как гласит чисто полицейская доктрина Сталина, а неизмеримо более могущественные факторы, как материальная скудость, культурная отсталость и вытекающее отсюда господство „буржуазного права“ в той области, которая непосредственное и острее всего захватывает каждого человека: в области обеспечения личного существования».¹²²

Вместе с тем элементы социализма в концепции Л. Троцкого в конечном счете должны превалировать, и поэтому бюрократия советского типа обречена и лишена исторического будущего. Сталинизм как бюро-

¹²² *Троцкий Л.* Преданная революция. М., 1991. С. 85.

кратическое извращение пролетарского государства рассматривается им как временное явление, неустойчивое и неспособное, как следствие, преодолеть серьезный кризис. События Второй мировой войны, победа над фашизмом продемонстрировала, что это не так. «...Мы же думаем, что Троцкий ошибался, считая бюрократию неэффективной, поскольку он рассуждал об ее эффективности по отношению к достижению своей цели — коммунизма, а коммунизм не есть цель бюрократии. Это правда, что бюрократия стремится уничтожить возможность коммунистической революции, но правда и то, что бюрократия эффективна по отношению к своей цели — упрочению и расширению своей власти и своего режима».¹²³ Особо острые дискуссии в группе «Социализм или варварство» вызывал тезис об эксплуатации рабочих в СССР. Если советская бюрократия должна рассматриваться как политический и экономический класс, то для достижения своих целей, для укрепления своего господствующего положения этот класс не может не прибегать к эксплуатации трудящихся. Вместе с тем этот вывод, являющийся следствием общего теоретического представления о природе советского государства, не подтверждался многими очевидными фактами: общественный продукт не перераспределялся в СССР в пользу бюрократии, а рабочие в целом оказывали явную поддержку правящему классу. В конечном счете члены группы сошлись на мнении, что не обладают достаточным количеством фактических данных о положении рабочих в СССР, чтобы сделать окончательный вывод относительно их эксплуатации.

¹²³ *Castoriadis C. Sartre, le stalinisme et les ouvriers // Castoriadis C. L'expérience du mouvement ouvrier. T. 1. 1973. P. 220.*

Активно полемизировавший с группой «Социализм или варварство» Ж.-П. Сартр, защищавший от критики с ее стороны сталинизм и советское государство, радикально изменил свою позицию после событий 1968 года в Чехословакии. По его мнению, именно в этот момент окончательно раскрылась буржуазная природа государственного режима СССР, его внутреннее родство с западноевропейскими буржуазными демократиями. «Несмотря на некоторые предосторожности... пять участников вторжения не очень старались замаскировать в высшей степени *консервативный* характер своей интервенции. Нашу западную буржуазию этим не проведешь: появление танков в Праге ее ободрило, почему бы не положить конец холодной войне и не заключить с СССР Священный Союз, который повсюду поддерживал бы порядок».¹²⁴ Сартр обращает также внимание на антигуманистическое отношение в СССР к человеку, где последний рассматривается не как цель, а как условие производства, причем далеко не самое важное.

Корни такого положения дел в СССР Сартр усматривает, помимо прочего, и в природе самого марксизма. Именно потому, что марксизм с самого начала заявляет о фундаментальном разрыве с созерцанием, о стремлении «не столько понять мир, сколько его изменить» на практике, в марксистской теории происходит роковой разрыв между теорией и практикой. Исторический выбор СССР в пользу «строительства социализма в одной стране» не мог не породить особой теоретической осторожности, страха перед возможными ошибками. Естественные для всякого государства

¹²⁴ Цит. по: *Киссель М. А.* Дороги свободы Ж.-П. Сартра // Вопросы философии. 1994. № 11. С. 179.

требования безопасности обернулись в СССР требованиями единства правящей партии. Идеологи партии «опасались, что свободное становление истины, со всеми спорами и столкновениями, которыми оно чревато, нарушит требуемое борьбой единство; они оставили за собой право намечать общую линию и давать интерпретацию событиям. Кроме того, из боязни, что опыт может выставить вещи в новом свете, возбудить сомнение в их руководящих идеях и способствовать „ослаблению идеологической борьбы“, они сделали доктрину недостижимой для опыта. Разобщение теории и практики превратило практику в беспринципный эмпиризм, а теорию — в застывшее чистое знание. С другой стороны, планирование, которое навязывалось бюрократией, не желавшей признавать свои ошибки, становилось насилием над действительностью, и поскольку будущее производство целой нации определялось в канцеляриях, часто за пределами ее территории, аналогом этого насилия был абсолютный идеализм: и людей, и вещи а priori подчиняли идеям; опыт, не оправдывавший ожиданий, мог быть только ошибочным».¹²⁵ Возникает, согласно Сартру, «сталинизированный марксизм», где «рабочий — не реальное существо, изменяющееся вместе с миром, а некая платоническая идея».¹²⁶ В сталинизированном марксизме, соединенном таким образом с платонизмом, историческое событие превращается в назидательный миф. Ярче всего, возможно, это превращение подтверждают показательные процессы над «врагами народа» в 30-е

¹²⁵ Сартр Ж.-П. Марксизм и экзистенциализм // Сартр Ж.-П. Проблема метода. М., 2008. С. 26.

¹²⁶ Сартр Ж.-П. Прогрессивно-регрессивный метод // Сартр Ж.-П. Проблема метода. С. 117.

годы. Признания подсудимых не раскрывают фактическую сторону якобы совершенных ими преступлений, но воспроизводят стереотипную мифологическую историю. Соответствие этой истории фактам, ее правдоподобие,¹²⁷ противоречия и неточности в датах оставались незамеченными, так как истинной целью этой истории являлось разоблачение «истинной» сущности деятельности «врагов народа». Как того и требует религиозный провиденциализм, материальная сторона фактов уступала свое значение их символическому смыслу. Сталинизированный марксизм порождал удивительную историческую слепоту, вследствие которой сам человек, его индивидуальность попадала в разряд иррационального, не подлежащего объяснению и рассматривалась теоретиком как не имеющая особого значения случайность. Отсюда обесценивание человеческой жизни и необходимость гуманизировать марксизм идеями экзистенциализма.

Постепенно в рамках либертарного социализма складывается представление о советском строе как о тоталитарном режиме. К. Лефор утверждает, что в лице СССР человечество столкнулось с расцветом деспотизма нового типа, сопоставимого с древними азиатскими деспотиями в той же мере, в какой современная демократия сопоставима с античной демократией. И вопрос о природе этой мутации, о причинах возникновения советского тоталитаризма может быть решен именно с позиций марксистской социальной теории, которая до настоящего момента от этой задачи уклонялась. До

¹²⁷ В 1937—1939 годах в СССР было разоблачено и расстреляно такое количество агентов польской разведки, которое в десятки раз превосходило их реальное число, ставшее известным после публикации соответствующих документов.

сих пор марксизм утверждал, «что основание концентрации системы, истребление миллионов людей, уничтожение свободы собраний и выражения мнений, отмена всеобщего избирательного права или превращение его в фарс, который обеспечивает 99 % голосов списку единственной партии, ничего не говорят о природе советского общества».¹²⁸ Поразительна не только явная несостоятельность такой позиции, но и тот факт, что крушение марксистской идеологии не освободило мышление, не открыло путь к проблемам реальной политической философии. Удивительно, что современный марксизм, по крайней мере марксизм советского образца, сосредоточивается не на самой политической реальности, а на задачах защиты «чистоты теории». Совершенно непостижимо, как можно одновременно утверждать, что тот социализм, который был построен в СССР, в Китае, в Камбодже, на Кубе и т. д., не является истинным социализмом, и в то же время считать абсолютно истинной ту версию марксизма, которая в этих и других странах нашла свое практическое воплощение? Современная марксистская мысль, как убежден К. Лефор, останавливается перед двумя непреодолимыми для нее препятствиями: перед обнаружением свободы в демократии и перед обнаружением рабства в тоталитаризме. Рабство тоталитаризма объявляется частично мнимым, преувеличенным недругами, частично оправданным чрезвычайными историческими обстоятельствами; свобода в демократии воспринимается как иллюзия, за которой якобы скрывается такое же тоталитарное рабство.

Это в полной мере соответствовало высказанному еще ранее утверждению Касториадиса, что в СССР су-

¹²⁸ *Лефор К.* Политические очерки. М., 2000. С. 16.

ществует не «выродившееся рабочее государство», как считал Троцкий, а «тотальный и тоталитарный бюрократический капитализм», строй, в котором вся полнота власти принадлежит новому господствующему классу в лице чиновничьей бюрократии. Современный тоталитаризм представляет собой политическое явление, в силу своей природы способное реализоваться на различной социальной и экономической основе. Для его формирования характерно возвышение одной партии, которая якобы имеет особую природу, в силу чего способна выражать интересы всего народа в целом. Такое представление о собственной исключительности дает этой партии ставить себя выше любых законов, уклоняться от любой формы контроля и подавлять любые формы оппозиции. «В этом плане осуществляется слияние между сферами власти, закона и знания. Знание конечных целей общества, норм, которые управляют социальной практикой, становится собственностью власти, между тем как последняя оказывается сама органом дискурса, который выражает реальность как таковую. Власть, воплощенная в группе, а на самом высоком уровне — в человеке, объединяется с равно воплощенным знанием, так что отныне никто не может ее сломить».¹²⁹ Такая партия руководствуется в своей деятельности не теорией, а смутно улавливаемым «духом» движения, его «генеральной линией», что открывает дорогу безграничному произволу и позволяет власти игнорировать любой неудачный опыт. Гражданское общество фактически уничтожается, но не потому что его политическая активность подавляется, а потому что, наоборот, всякая деятельность, как личная, так и групповая, наделяется политическим

¹²⁹ Там же. С. 20–21.

смыслом и преследуется как оппозиционная. Тоталитаризм выражается в тотальном, всеобъемлющем распространении господствующей идеологии. В тоталитарном обществе все подчинено идее единства — единства партии, единства народа, единства мыслей. Вследствие этого культа единства отвергаются все признаки различия верований, мнений, нравов. Сравнение современного тоталитаризма с древними деспотическими режимами возможно, но существует одно принципиальное различие. Если в древних деспотиях власть принадлежала одному лицу, то теперь эта власть приобретает подчеркнуто анонимный характер и позиционирует себя как «власть народа», «власть партии» и т. д. Эта анонимность порождает массовую безответственность, стремление не связывать свои действия с негативным результатом; но в то же время осуществляется и строгий запрет приписывать себе в заслугу позитивный результат, так как он всегда достигается усилиями всего народа или всей партии, и если в тоталитарных режимах закономерно возникает фигура Вождя, то она имеет прежде всего символическое значение, так как олицетворяет собой все то же единство народа или партии.

Характерная черта тоталитаризма — сочетание органичности и искусственности. Общество изображается как единое целое, действующее так же слаженно, как действует организм. Ключевым понятием является солидарность, которая и отличает данное общество от всего внешнего мира. Но в то же время эта солидарность постоянно, день ото дня создается, целью жизни солидарного общества объявляется создание нового человека, в связи с чем совершенно особый аспект приобретает уже упоминавшееся нами понятие «врагов народа». Этот внутренний враг так-

же производится искусственно, и его связь с внешним врагом, или факты, якобы свидетельствующие о попытках помешать слаженному функционированию социальной машины, имеют явно второстепенное значение.

Поскольку понятие тоталитаризма сформировано, закономерно встает вопрос о связи тоталитарного режима с демократией, о причинах, в силу которых внутри демократии рождается тоталитаризм. «Действительно, мы имеем достаточные основания утверждать, что эволюция демократических обществ сделала возможным появление новых систем господства — идет ли речь о фашизме, нацизме или социализме, — черты которых были ранее немыслимы. Но нужно по крайней мере признать, что формирование этой системы включает разрушение демократии; оно не является заключением исторического движения, которое последняя открыла; оно перевертывает ее смысл».¹³⁰ В этом отношении тенденция возрастающей силы бюрократического аппарата в демократических обществах мало что объясняет, так как в тоталитарных обществах бюрократия не имеет самостоятельной силы и полностью подчинена партийному аппарату. Не связан тоталитаризм и с имевшими в демократических обществах место тенденциями к государственному патернализму или провиденциализму, так как совершенно очевидно, что вопросы социального благополучия явно второстепенны для тоталитарных режимов. В целом предпринятый К. Лефором анализ мутации демократии в сторону тоталитаризма может показаться излишне оптимистичным и даже поверхностным. Причины возник-

¹³⁰ Там же. С. 41.

новения тоталитаризма не имеют такого глубокого и такого рокового характера, как это представляется большинству исследователей. «Когда неуверенность индивидов увеличивается вследствие экономического кризиса или губительных последствий войны, когда конфликт между классами и группами обостряется и не находит более символического разрешения в политической сфере, когда власть кажется реально ослабевшей и чем-то особым, стоящим на службе вульгарных честолюбивых интересов и appetitов, короче, проявляет себя находящейся в обществе, когда последнее оказывается как бы раздробленным, тогда развивается фантазм единого народа, поиск субстанциальной идентичности, спаянного с головой социального тела, воплощенной власти, государства, свободного от разделения».¹³¹ Таким образом, причина тоталитарной мутации лежит, скорее, в неготовности демократии ее предотвратить. В той или иной мере случайное совпадение этой неготовности с перечисленными выше обстоятельствами сравнительно легко предотвратить, и в этой связи политологический анализ формирования тоталитарных режимов XX столетия имеет прямое практическое значение, так как вооружает силы, стоящие на стороне разума и прогресса, знанием о природе этих режимов и предоставляет им возможность эффективно с ними бороться. Следует добавить, что аналогичный политологический анализ формирования сталинского тоталитаризма в России, связывающий его не с социально-экономическими, а с исключительно политическими причинами, был бы в настоящее время весьма актуален. Заметим, что такого рода мето-

¹³¹ Там же. С. 29–30.

дологическая программа исследования сталинизма противоположна той, что была заявлена Г. Лукачем. Там речь шла о необходимости раскрыть в первую очередь экономические причины сталинизма, обнаруживающие одновременно и его историческую необходимость и его историческую ограниченность.

Однако методологический спор между сторонниками социально-экономического анализа сталинизма и приверженцами исключительно политологического анализа, как и его разрешение, возможен только при определенных условиях. Нет необходимости перечислять все причины, в силу которых в самом СССР такой спор был невозможен в период самого сталинизма, так как эти причины совершенно очевидны. Но и завершение этого периода не означало автоматическое устранение этих причин. Сама марксистская теория должна была оказаться в условиях хотя бы относительной интеллектуальной свободы, чтобы обнаружить в себе потенциал для политически независимого исследования недавнего, еще не утратившего свою актуальность прошлого. Неслучайно перечисленные нами выше критические позиции по отношению к сталинизму (коммунистический антисталинизм, коммунистический сталинизм и антикоммунистический антисталинизм) теоретически оформились за пределами СССР. Марксистская теория в самом СССР в 50—60-е годы была скована многими внешними ограничениями, и если внутреннюю структуру этой теории рассматривать общепринятым способом, разделяя ее на хорошо известные «три составные части», то вполне оправданным было бы предположение, что именно в философии, а не в теории научного социализма и не в экономической науке, могли появиться первые ростки интеллектуальной свободы.

2.3. Критика советского марксизма во Франкфуртской школе

Богатый, хотя и не лишенный внутренней противоречивости опыт критики советского марксизма был накоплен за несколько десятилетий работы знаменитого Института социальных исследований во Франкфурте-на-Майне, или Франкфуртской школы. Критика советского исторического опыта во Франкфуртской школе основывалась на учении К. Маркса об отчуждении, на новой интерпретации марксистского учения о классовой борьбе, в рамках которой пролетариат уже не рассматривался в качестве ведущей революционной силы, и на фрейдистских представлениях о структуре личности, в которых решающая роль отводится конфликту сознательного и бессознательного начал.

Но и эти исходные предпосылки не воспринимались во Франкфуртской школе как неоспоримые догмы. История марксизма, сопоставляемая с теми задачами, которые ставились с самых первых его шагов, предстает в ярко выраженном критическом свете. Марксизм — и в его советском, и в его западноевропейском вариантах — почти полностью утратил такие свои первоначальные характеристики, как связь с гегелевской диалектикой и критическую функцию по отношению к социальной действительности. Это было неизбежным следствием того факта, что и у самого Маркса цель построения свободного, лишённого признаков авторитаризма общества сочеталась с авторитарными средствами ее достижения — с насильственным захватом политической власти и с диктатурой правящего класса. Кроме того, марксизм, в учение которого критика идеологии как лож-

ного сознания занимала одно из центральных мест, сам постепенно все больше и больше превращался в идеологию. Марксизм, возникающий как философия свободы, задачу освобождения человека отодвигает во все более отдаленное будущее. Первый из знаменитых «Тезисов о Фейербахе» — «Главный недостаток всего предшествующего материализма — включая и феербаховский — заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме *объекта*, или в форме *созерцания*, а не как *человеческая чувственная деятельность, практика*, не субъективно. Отсюда и произошло, что *деятельная* сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм, конечно, не знает действительной, чувственной деятельности как таковой. Фейербах хочет иметь дело с чувственными объектами, действительно отличными от мысленных объектов, но самую человеческую деятельность он берет не как *предметную* деятельность. Поэтому в „Сущности христианства“ он рассматривает, как истинно человеческую, только теоретическую деятельность, тогда как практика берется и фиксируется только в грязноторгашеской форме ее проявления. Он не понимает поэтому значения „революционной“, „практически-критической“ деятельности»¹³² — в последующей истории марксизма так и не был должным образом понят. Поэтому на смену первоначальному представлению об истории как о равнодействующей проявлений воли отдельных свободно действующих людей пришли теоретические построения, акцентирующие внимание на не зависящем от воли людей и predetermined действии

¹³² Соч. Маркса К., Энгельса Ф. Изд. 2. Т. 3. С. 1.

общественных законов развития, теории «экономического детерминизма».

Что касается «советского марксизма», то в нем возобладало представление о социализме как о «единой фабрике», работающей под рациональным, основанном на научном планировании руководством партийного и государственного аппарата. «Советский марксизм» перенес на социалистическое общество логику и принципы функционирования капитализма, в особенности, его индустриальной стадии развития. Этот перенос означал превращение тружеников в автоматический придаток экономической машины. В перспективе теорий «экономического детерминизма» процесс индустриального роста, требующий соответствующей централизации и, как следствие, авторитарного режима, становился фатальным процессом, который люди не могут прервать по своей воле. Задачи рабочего движения сокращаются до борьбы за улучшение условий труда на «единой фабрике», а само рабочее движение становится естественным проявлением функционирования и развития капитализма. Именно такая интерпретация марксизма служила, по убеждению представителей Франкфуртской школы, в СССР господству правящей бюрократии и являлась идеологическим обоснованием номенклатурного тоталитаризма.

Теоретиков Франкфуртской школы не устраивал ни тот вариант социальных преобразований, который осуществлялся советской бюрократией в период сталинизма, ни та версия марксизма, которая эти преобразования обосновывала и оправдывала. В то же время в рамках Франкфуртской школы не вышло ни одной работы, специально посвященной критике сталинизма. Исключение составляет только книга

Г. Маркузе «Советский марксизм»,¹³³ которую, однако, большинство критиков считают малоубедительной в теоретическом отношении работой. Ключевой вывод Маркузе в этой книге заключается в том, что существующая теория социализма не является и не может являться учением о будущем человечества. Область применения марксизма ограничивается исключительно классовыми обществами, история которых составляет «предысторию человечества». Марксизм не может преодолеть эту свою историческую ограниченность. Но по мере того как сама действительность выходит за границы классового общества, меняется вся структура исторического процесса. В этих новых условиях действие законов развития, открытых историческим материализмом, приостанавливается либо вообще отменяется. Поэтому, утверждает Маркузе, в самом марксизме нет никаких теоретических оснований для построения образа будущего.

Исходя из этих рассуждений общего порядка, Маркузе делает вывод, что марксизм является утопией, но в то же время его основная претензия выражается в том, что эта утопия недостаточно радикальна. Так, предсказывая изменения в характере технологий и производительных сил будущего общества, марксизм не предвидит, что столь же радикальные изменения неизбежны и в самой биологической природе человека. Измениться должны не только производственные и социальные отношения, измениться должен и сам человек, его способ самоидентификации, его потребности, его чувственность и его мышление. Свободный человек не сможет уже ограничиваться «свободой-от», внешней независимостью, он будет

¹³³ *Marcuse H. Soviet Marxism: A Critical Analysis. New York, 1958.*

действовать в своей повседневной жизни как свободное существо, и его свободная деятельность будет иметь подлинно революционный характер, его мышление обретет радикально критический характер. На смену репрессивной цивилизации придет цивилизация, свободная от любого вида репрессий, в том числе и от подавления инстинктов, свойственных человеческой природе.

Такого рода представления предопределяют обращение к психоанализу с характерными для него идеями о неизбежном подавлении внутренних влечений человека в современной цивилизации. Человек будущего будет избавлен от необходимости производства материальных благ, исчезнут основания для репрессивного подавления его природы, и он будет посвящать свое время не труду, а играм, наслаждениям и творчеству. Таким образом, именно в искусстве, в художественном творчестве мы уже сейчас можем увидеть прообраз свободной деятельности человека будущего. Но для того чтобы человек стал свободным, он должен в первую очередь ощутить свою несвободу, осознать ее истоки и начать с ней бороться. Первый шаг в этом направлении — возрождение критического мышления, критического восприятия мира. Это метод мышления, заключающийся в критической рефлексии, в «диалектике отрицательности», направленной на разрушение всех имеющихся стереотипов общественного сознания, всех ложных идеологических форм. Только разрушая их, сознание способно найти то «иное», в свете которого будет раскрыта вся неистинность настоящего. Причем некоторые из представителей Франкфуртской школы полагали, что такого рода критическая рефлексия, «диалектика отрицательности» должна в первую очередь высвободить силу мышления, ко-

торое может и не быть сковано законами формальной логики, оно может опираться на свободные ассоциации, на парадоксы и метафоры, на воображение и интуицию, оно, поскольку искусство полагается образцовой моделью всякой деятельности, в том числе и познания, может использовать самые разнообразные средства художественного познания мира.

Интересно, что подобного рода представления о природе искусства с самого начала совпадали с поставленной В. Беньямином задачей кардинальной перестройки теории искусства, первым условием которой должен быть подход к искусству не как к индивидуальной форме деятельности, но как к деятельности, имеющей массовый характер, обладающей своей техникой, экономикой, идеологией. Эти новые формы В. Беньямин обнаруживает, в частности, в журналистике Советской России: «В этом, однако, кроется, диалектический момент: упадок словесности в буржуазной прессе оборачивается формулой ее возрождения в прессе Советской России. Благодаря тому, что словесность выигрывает в смысле широты то, что она утрачивает в плане своей глубины, граница между автором и публикой, которую буржуазная пресса традиционным образом сохраняет, в советской прессе начинает исчезать. Человек читающий готов там в любое время стать пишущим человеком, то есть описывающим и даже предписывающим. Он получает доступ к авторству как эксперт — пусть даже не по специальности, а скорее только по должности, которую исполняет. Сам труд обретает дар слова. И выражение его в слове составляет часть навыков, которые требуются для занятия трудом. Как общественное достояние, литературная компетенция основывается уже не на специализированном, но на политехниче-

ском образовании. Словом, именно литературизация жизненных условий начинает господствовать над иначе неразрешимыми антиномиями».¹³⁴

В. Беньямина не смущает даже то, что новая роль автора предполагает его явную ангажированность инстанциями власти. Он пока еще не усматривает в этом признаки тоталитарного контроля за всеми сферами жизнедеятельности, включая и считавшуюся до сих пор не поддававшуюся контролю сферу художественного творчества. Новые социальные функции искусства, новая роль автора настолько увлекают воображение В. Беньямина, что он готов утверждать, что прежние формы творчества, предполагавшие, например, индивидуальную свободу творца, его гениальность, навсегда остались в прошлом, и теперь понятие гениальности может либо служить фашизму, либо полностью отвергаться новыми социалистическими формами. «Советское государство, в отличие от платоновского, не изгоняет поэта, но оно... ставит перед ним задачи, которые не позволяют ему выставлять на обозрение поддельное богатство творческой личности в новых шедеврах. Ожидать обновления в духе подобных личностей, в духе подобных произведений — это привилегия фашизма... Для автора, который осмыслил условия современного производства, нет ничего более чуждого, чем ожидать появления таких произведений или хотя бы желать, чтобы они появились. Его работа никогда не будет работой над одной лишь продукцией, но всегда — работой над средствами производства».¹³⁵ Впрочем, эта дилемма является столь острой лишь за пределами

¹³⁴ Беньямин В. Автор как производитель // Беньямин В. Учение о подобии. М., 2012. С. 139.

¹³⁵ Там же. С. 147–148.

Советского государства, внутри же него она приобретает значительно более мягкие формы. В. Беньямин указывает на тех писателей из Советской России, которые произошли из буржуазии, и, тем не менее, стали пионерами социалистического строительства. «Но как же они стали таковыми пионерами? Пожалуй, все-таки не без чрезвычайно ожесточенной борьбы, не без в высшей степени трудных дискуссий... Они опираются на понятие, которое решающим образом проясняется в дебатах о положении русских интеллектуалов — на понятие специалиста. Солидарность специалистов с пролетариатом... может быть всегда лишь опосредованной... даже пролетаризация интеллектуала почти никогда не превращает его в пролетария. Почему? Потому что буржуазный класс дал интеллектуалу средство производства в виде образования, которое — в связи с привилегией образования — делает интеллектуала солидарным с буржуазным классом и еще в большей степени делает солидарным с ним буржуазный класс».¹³⁶ Поэтому интеллектуал всегда остается способным на предательство. Но чем меньше он в новом обществе будет определять себя как «человека духа», тем меньше вероятность для него в грядущих классовых битвах оказаться на стороне фашизма, которому теперь одному принадлежит безусловное право говорить «от имени духа».

Этот новый образец деятельности В. Беньямин усматривает и в советском кино. «Все это может быть перенесено на кино, где сдвиги, на которые в литературе потребовались века, произошли в течение десятилетия. Поскольку в практике кино — в особенности русского — эти сдвиги частично уже совершились, часть играющих в русских фильмах людей не актеры

¹³⁶ Там же. С. 153.

в нашем смысле, а люди, которые представляют самих себя, причем в первую очередь в трудовом процессе. В Западной Европе капиталистическая эксплуатация кино преграждает дорогу признанию законного права современного человека на тиражирование. В этих условиях кинопромышленность всецело заинтересована в том, чтобы дразнить желающие участия массы иллюзорными образами и сомнительными спекуляциями». ¹³⁷ Разумеется, эти художественные наблюдения В. Беньямина имели характер предвосхищений, и в них легко угадывается не столько отражение новых реалий в советской действительности, сколько попытка найти в ней подтверждение определенным теоретическим установкам. Очевидно, что в приведенных примерах — стирание граней между автором и читателем, актеры, никого, кроме самих себя, не играющие и т. д. — В. Беньямина особенно привлекают два момента: во-первых, увеличение удельного веса массовости, коллективности и уменьшение индивидуального начала в новом искусстве, а во-вторых, отрицание тех привычных форм, которые, как например представления о гениальности художника, многими считаются неизблемыми и неизменными. Именно такое отрицание неизблемого и неизменного ярче всего демонстрирует рефлексивное разрушение стереотипов и ложных идеологических форм, именно оно освобождает сознание. Поэтому в приведенных примерах у В. Беньямина речь идет не только и не столько о новых формах искусства, сколько о «диалектике отрицательности», которая мыслится как обязательный атрибут мышления нового свободного человека.

¹³⁷ *Беньямин В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996. С. 45—46.

Отметим, что здесь мы подошли к одному из наиболее принципиальных различий между советским и западноевропейским марксизмом в методологическом инструментарии, применяемом к самым различным областям действительности — от социальной теории до философии искусства. Таким инструментарием и является диалектика отрицательности, или, что то же самое, «негативная» диалектика.

Нелишним будет напомнить, что в «советском» марксизме, в его варианте «диамата», диалектика отрицательности была выражена в форме одного из трех главных законов диалектики — закона отрицания отрицания. Этот закон трактовался исключительно онтологически, то есть как всеобщий закон развития самой природы, а уж затем, как следствие его отражения, и как закон мышления и логики. Вообще говоря, онтологизация диалектики — это один из самых главных пороков «советского» марксизма, превративших его в нечто, лишь внешним образом напомилавшее оригинальную марксистскую теорию. Следствие этой онтологизации — крайне абстрактное, догматическое понимание диалектики как науки о законах, действующих в одной и той же схематичной форме в природе, обществе и мышлении. «Противоположное „диамату“ понимание диалектики состоит в том, что она не представлена везде одинаково. Она выглядит везде по-разному. А в своем конкретном и одновременно всеобщем виде она может быть представлена только как диалектика мышления, как диалектика развития человеческого познания, то есть как логика и теория познания. Что касается истории и природы, то ее применение здесь предполагает историческую науку и естествознание: и не к *предмету* этих наук применяется

здесь диалектика, а *к самим наукам* — к истории и естествознанию». ¹³⁸

В «советском» марксизме с диалектикой произошло примерно то же самое, что произошло с учением Аристотеля в средневековой схоластике и метафизике XVII—XVIII веков. ¹³⁹ Философия из учения о мышлении и логики превратилась в отвлеченное описание бытия «как оно есть». Поэтому в «советском» марксизме не следует надеяться обнаружить хотя бы даже приблизительное представление о диалектике отрицательности. В то же время следует признать, что и в западноевропейском марксизме первое систематическое изложение данного предмета появилось сравнительно поздно, когда в 1966 году Т. Адорно опубликовал одно из важнейших своих произведений «Негативная диалектика». Наша задача здесь будет сводиться к тому, чтобы дать общую характеристику исходных положений диалектики отрицательности в изложении Адорно и оценить, насколько такое систематическое изложение вопроса — совершенно необходимое с точки зрения внутренней логики развития марксистской теории — оказалось удачным. Особый интерес с историко-философской точки зрения представляет тот факт, что книга Адорно, предполагавшая анализ категорий «тождество», «единство», «не-тождество», «противоречие» и др., насыщена в этом отношении критическим пафосом, адресованным экзистенциалистским интерпретациям этих категорий, а также опыту построения новых

¹³⁸ *Мареев С. Н.* Из истории советской философии: Лукач—Выготский—Ильенков. М., 2008. С. 24.

¹³⁹ См. подробнее об этом: *Потемкин А. В.* Метафилософские диатрибы на берегах Кизитеринки. Ростов-на-Дону, 2003.

онтологий у М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра. Важно также, что «негативная диалектика» Адорно является для него теоретической основой социальной критики индустриального общества, товарно-денежной экономики и современной культуры и идеологии.

Сам Адорно указывает в качестве источника идеи «негативной диалектики» на идейное завещание В. Бенъямина, высказанное им в «Метакритике теории познания» (1937), где тот «высказался в том смысле, что следует целенаправленно и последовательно преодолевать границы ледников абстракции; что важно, так это достичь конкретного философствования, прийти к нему. Негативная диалектика рисует этот путь только в ретроспекции. В современной философии конкретизация по большей мере превращается в обман».¹⁴⁰

Отметим, что в понимании Адорно диалектика представляет собой особый способ осмысления противоречий. Этот способ противостоит в первую очередь формально-логическому мышлению, опирающемуся на категории «тождество» и «общее понятие». И претензии на всеобщность, на всеобъемлющий характер Адорно обнаруживает не в диалектике (как это происходит в «диамате», где диалектика есть «1. Материалистическая диалектика, как наука о закономерных связях, составляет всеобщую методологию, абстрактную науку о всеобщих законах движения. 2. Диалектика природы... 3. Материалистическая диалектика в применении к обществу — исторический материализм»),¹⁴¹ а скорее именно в формальной логике: «В соответствии со своим собственным поня-

¹⁴⁰ Адорно Т. Негативная диалектика. М., 2003. С. 11.

¹⁴¹ Деборин А. М. Диалектика и естествознание. М.; Л., 1929. С. 33.

тием логика должна быть истинной; но она дистанцируется от этого требования, потому что стремится одновременно быть всем — и метафизикой, и учением о категориях; логика, беря начало в себе самой, хочет быть тем определенно существующим, в котором само ее появление и ее основания только и могут обрести легитимность».¹⁴²

Ключевой момент композиции книги Адорно — противопоставление негативной диалектики диалектике позитивности. Здесь сразу же стоит указать, что Адорно, выдавая диалектику Гегеля за образец диалектики позитивности, опирается на явно одностороннюю интерпретацию гегелевской философии. Сам Адорно приводит следующее определение диалектик позитивности из гегелевской «Науки логики»: «Если, впрочем, еще и теперь скептицизм часто рассматривается как непреодолимый враг всякого положительного знания вообще и, следовательно, также философии, поскольку последняя имеет дело с положительным познанием, то следует возразить, что скептицизм опасен лишь для конечного, абстрактно-рассудочного мышления, и лишь оно не может устоять против него; философия же, напротив, содержит в себе скептицизм как момент, а именно как диалектическое. Но философия не останавливается на голом отрицательном результате диалектики, как это происходит со скептицизмом. Последний ошибочно понимает этот результат, беря его лишь как голое, то есть абстрактное отрицание, ибо отрицательное, получающееся как результат диалектики, именно потому, что оно представляет собой результат, есть вместе с тем и положительное, так как содержит в себе как понятие того, из чего

¹⁴² Адорно Т. Негативная диалектика. С. 45.

оно происходит, и не существует без последнего. Но это уже составляет определение третьей формы логического, а именно спекулятивной или положительно-разумной формы». ¹⁴³ Таким образом, если отрицательное рассматривается как результат диалектики, то уже в силу того, что это результат, это отрицательное оказывается положительным. Более того, скептицизм, с которым Гегель связывает такого рода диалектику отрицательности, сам является необходимым моментом положительно-разумной формы. В этом отношении Адорно и противопоставляет негативную диалектику гегелевской положительно-разумной форме.

Но в гегелевской философии негативности отводится более сложная роль. Негативность является выражением отрицания человеческой индивидуальности, и именно этот аспект во многом определяет место проблемы негативности в философии Гегеля. Эта проблема играет ключевую роль в «Феноменологии духа», содержанием которой является поступательное преодоление исторически определенных форм мышления, изживающих свои внутренние противоречия, а также в «Философии религии», так как религия, согласно Гегелю, является той формой духа, где представление исчерпывает себя и уступает место положительно-разумной форме в лице философии.

В той мере, в какой в «Феноменологии духа» представлена диалектика сознания, где одни формы духа уступают место другим, более развитым, предметом этой феноменологии с необходимостью становится конечность духа, его временность, то есть негативность.

¹⁴³ Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М., 1974, С. 210. В «Негативной диалектике» Адорно приводит эту цитату в разделе «Спекулятивный момент» на с. 25.

Негативное полагает отрицание конечности сознания, так как это «чистое общее движение, превращение всякого устойчивого существования в абсолютную текучесть, есть простая сущность самосознания, абсолютная негативность, чистое для-себя-бытие, которое таким образом присуще этому сознанию».¹⁴⁴ Но такое отрицание не ведет к ничто, а предполагает развитие сознания в самосознание. Такое отрицание не противостоит полаганию, так как оно не уводит в «дурную бесконечность» повторения одного и того же, но дает дорогу более развитой форме духа. Частный, но весьма значимый пример негативности самосознания — так называемая диалектика Господина и Раба. Отрицание другого как своей противоположности ведет к отношению к другому как к равному, так как признание субъективной свободы может быть получено не по принуждению, но только свободно, то есть по внутреннему закону самого сознания. Это взаимное признание означает рождение в сфере духа человека как личности, существование которого возможно только через отношение к другому как к себе. В основе правовой формы лежит это бытие личности, рассматриваемое как внешнее самому себе. Рассматриваемое как внутреннее отношение самого себя к самому себе, как выражение своей внутренней природы, это отношение олицетворяется понятием свободы. В любом случае негативность предстает как необходимый и существенно важный момент становления духа.

Более того, в диалектике Господина и Раба категория негативности занимает центральное положение, так как играет роль структуры, определяющей отношение человека к миру. Примеры того, что негативность

¹⁴⁴ Гегель Г. В. Ф. Феноменология Духа. М., 2009. С. 141.

наделяется центральной ролью, можно обнаружить в различных разделах этого произведения. Например, в четвертом разделе «Истина достоверности себя самого», изображающем становление индивидуального самосознания, речь фактически идет о переходе человека от его природного существования к существованию в модусе свободной самостоятельной личности. Переход от обусловленности человека природными факторами к разумной определенности сознания возможен, если природные влечения будут опосредствованы понятиями. Негативность выступает в форме страха смерти, страха перед опасностью, и в этом аспекте она не только отрицает непосредственность природных влечений, но и полагает саму возможность понятийных определений. Другую форму негативности Гегель анализирует в разделе, посвященном духу. Определяя дух в форме свободной субъективности, Гегель допускает, что в этой форме свобода может становиться абсолютной свободой, а значит может оборачиваться и абсолютным злом. Здесь негативность рассматривается как безусловный предел абсолютной свободы, но осознание любого предела уже является осознанием возможности его преодолеть. Поэтому индивидуальность, осознающая свой предел, свою конечность, может его преодолевать. Правда у Гегеля такое преодоление олицетворяет террор Великой Французской революции, подтверждающий, что абсолютная свобода негативна и может породить лишь ужас перед лицом смерти.

Эти особенности гегелевского учения о диалектике негативности были по достоинству оценены и Марксом. Обращаясь к заключительной главе «Феноменологии духа», Маркс оценил как величайшее достижение гегелевской диалектики открытие им негативного принципа, заключенного в человеческой

практике: «Величие гегелевской „Феноменологии“ и ее конечного результата — диалектики отрицательности как движущего и порождающего принципа — заключается, следовательно, в том, что Гегель рассматривает самопорождение человека как процесс, рассматривает опредмечивание как распредмечивание, как самоотчуждение и снятие этого самоотчуждения, в том, что он, стало быть, ухватывает сущность труда и понимает предметного человека, истинного, потому что действительного, человека как результат его собственного труда. Действительное деятельное отношение человека к себе как к родовому существу, или проявление им себя на деле как действительного родового существа, то есть как человеческого существа, возможно только тем путем, что человек действительно извлекает из себя все свои родовые силы (что опять-таки возможно лишь посредством совокупной деятельности человечества, лишь как результат истории) и относится к ним как к предметам, а это опять-таки возможно сперва только в форме отчуждения».¹⁴⁵

Более того, в своем понимании принципа негативности Маркс идет и дальше и глубже Гегеля: негативность, как и труд, является фактором духовно-практического самопорождения человека, но если у Гегеля самодвижение духа венчается абсолютным знанием, то у Маркса эта завершающая гегелевскую философию точка совпадает с переходом к действительной общественно-исторической практике человечества, в которой человек освобождает себя и открывает дорогу для свободного и всестороннего развертывания сущностных сил человека. Там, где у Гегеля самодвижение

¹⁴⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 627.

духа исчерпывает свои возможности на ступени абсолютного знания, там у Маркса только еще должна начаться истинная история человеческой свободы. «Лишь после того как великая социальная революция овладеет достижениями буржуазной эпохи, мировым рынком и современными производительными силами и подчинит их общему контролю наиболее передовых народов, — лишь тогда человеческий прогресс перестанет уподобляться тому отвратительному языческому идолу, который не желал пить нектар иначе, как из черепов убитых».¹⁴⁶

Причем, как бы заранее соглашаясь с Адорно, Маркс именно в недостаточной развитости момента негативности усматривает чуть ли не главный порок гегелевской системы. По крайней мере его критика гегелевской диалектики основывается именно на силе диалектики отрицательности. «В своей мистифицированной форме диалектика стала немецкой модой, так как казалось, будто она прославляет существующее положение вещей. В своем рациональном виде диалектика внушает буржуазии и ее доктринерам-идеологам лишь злобу и ужас, так как в позитивное понимание существующего она включает в то же время понимание его отрицания, его необходимой гибели, каждую осуществленную форму она рассматривает в движении, следовательно, также и с ее преходящей стороны, она ни перед чем не преклоняется и по самому существу своему критична и революционна».¹⁴⁷

Займствуя у Маркса и критику гегелевской системы с ее недостаточно выраженным моментом негативности и социальную направленность применения

¹⁴⁶ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 9. С. 230.

¹⁴⁷ Маркс К. Капитал. Т. 1. 1969. С. 22.

принципа негативности, Адорно сообщает этим аспектам совершенно иной смысл. Целью Адорно становится стремление разобраться в глубинных причинах социальных и политических катастроф первой половины двадцатого столетия. Тот факт, что какой бы ни была грандиозной и всеобъемлющей система философии Гегеля, как венец спекулятивных творений человеческого разума, она все же не смогла предотвратить ужасы Дахау и Освенцима, дает Адорно право не только поставить под сомнение возможности гегелевской философии в деле объяснения сущего, но и выразить подозрение в отношении рационалистической традиции и человеческого разума вообще. Идея «негативной диалектики» выдвигается им как альтернатива предшествующим формам рациональности, в отличие от Маркса, который, как известно, был убежден, что диалектическое мышление является закономерным и необходимым итогом всей истории человеческого мышления. Если у Гегеля способностью постижения истины наделялось спекулятивное мышление, то Адорно противопоставляет ему нечто принципиально новое — так называемое *констелятивное* мышление. Идея Адорно заключается в том, что необходима новая диалектика, не диалектика тотальности, акцентирующая приоритет целого над частями, но диалектика, исходящая из равноправия целого и составляющих его частей. Такое отношение целого и части будет справедливым, и такая же справедливость должна распространяться и на соотношение единичного, особенного и всеобщего, тогда как диалектика тотальности устанавливала безусловное господство всеобщего над единичным и особенным. Кроме того, классическая диалектика обвиняется Адорно в злоупотреблении категориями «тождество» и «отождествление», злоупотреблении,

которое в конечном счете оборачивается в философии нивелированием идеи личности и индивидуальности. Подлинное диалектическое мышление, по убеждению Адорно, требует, чтобы именно уникальность, неповторимость, «инаковость» моей и всякой другой личности, их «нетождественность» друг другу, были бы выдвинуты на первый план. Такого рода диалектика неизбежно потребует и иных категорий. Еще одной важной проблемой является характерное для классической диалектики противопоставление субъекта и объекта: «Антагонизм, который философия вырядила в слова субъект и объект, не может быть истолкован как изначальный порядок вещей. Иначе дух превратится в просто другое относительно тела, что противоречит имманентно соматическому телесного. Этот антагонизм нельзя расплавить исключительно посредством духа — дух виртуально снова одухотворит его, вдохнет в него жизнь. В антагонизме обнаруживается именно то, что имеет преимущество перед субъектом и в этом своем преимуществе ускользает от него — ибо вечность нельзя примирить с субъектом; ускользает, словно превращенная форма и образ преимущества и приоритета объективности».¹⁴⁸ Очевидно, что классическая диалектика отдавала предпочтение субъекту, тогда как задача новой, негативной диалектики состоит в том, чтобы вернуть философию к простой и неопровержимой идее, согласно которой объект всегда предстоит перед субъектом в своей инаковости. Вместе с тем приоритет объекта не следует интерпретировать так, как это делает упрощенный «экономический материализм».

Основной принцип негативной диалектики Адорно — это принцип отрицания тождества. В связи с этим

¹⁴⁸ Адорно Т. Негативная диалектика. С. 177.

переосмысливаются также и имеющие отношение к диалектике отрицательности категории снятия и отрицания. Если в гегелевской диалектике именно отрицание являлось движущим моментом, в соответствии с которым происходило развертывание противоречия и его снятие, то для Адорно отрицание — это твердое и непреложное отрицание, которое более не должно приводить к снятию противоречия. Отрицание, развертывающее противоречие, а затем его снимающее, согласно Адорно, ведет к оправданию существующего порядка вещей, к примирению с ним. Истинная негативная диалектика осуществляет рефлекссию над своим собственным движением. «Если негативная диалектика требует саморефлексии мышления, то из этого очевидно следует, что мышление, для того чтобы быть истинным, сегодня обязано всякий раз мыслить в антитезе к самому себе. Мышление, которое испытывает недостаток во внешнем (понятие избегает всякое внешнее), имеет преимущество выдержать шум и грохот музыкального аккомпанемента, которым эссовцы любили глушить крики своих жертв».¹⁴⁹

Такова диалектика отрицательности после переработки этого гегелевского и марксова понятия у Адорно. Реальный гуманизм Маркса отрицает мир присвоения и отчуждения, он утверждает действительный процесс самовоспроизводства человека, происходящий вопреки всей его противоречивости по восходящей линии. Очевидно, что само понятие негативной диалектики Адорно унаследовал от Гегеля. Неоспоримо также, что Марксу он обязан стремлением выйти за рамки гегелевской концепции. Но Адорно ищет новые ориентиры: «...от гегельянца Маркса вплоть до Бенья-

¹⁴⁹ Там же. С. 326.

мина с его идеей спасения индукции; апофеозом этого процесса могло бы стать творчество Кафки». ¹⁵⁰ Нельзя не признать и правомерность утверждения Адорно, что теперь любые размышления о мире и человеке должны учитывать уроки гуманистической катастрофы и не закрывать глаза перед клубящимся из крематориев Освенцима дымом. Но нельзя не заметить, что негативная диалектика Адорно не редуцирует вопрос о ее эффективности и связи с действительностью. Не окажется ли так, что его негативная диалектика объясняет мир, отталкиваясь от факта, что преобразование мира завершилось неудачей?

Эта общая не только для Адорно, но и для почти всех представителей Франкфуртской школы установка естественным образом проецируется на критику советского исторического опыта. Марксизм и его советский вариант в виде ленинизма рассматриваются как варианты осуществления более общего гуманистического проекта. Марксизм исходит из той предпосылки, что индустриальное общество создало все необходимые условия для реализации разума и свободы, но этому препятствуют капиталистические производственные отношения. Может быть достигнут достаточный уровень развития производительных сил и достаточное количество материальных богатств для того, чтобы были удовлетворены хотя бы самые основные потребности всех членов общества. Это и есть предпосылки для перехода к новому обществу, но сам этот переход предполагает не только новые отношения по поводу производства, но и освобождение самого человека. Новое общество должно быть нерепрессивным, оно должно освободить человека от его рабского по-

¹⁵⁰ Там же. С. 326.

ложения в системе производства, что требует полного отрицания прежнего капиталистического общества. Маркс связывал такое освобождение с пролетариатом, имея в виду, что именно этот класс наиболее свободен от старых репрессивных ценностей, и само его существование есть способ отрицания системы капитализма и ее преодоления. Радикальная ошибка всего последующего марксизма заключалась в том, что эта связь пролетариата и освобождения превратилась в непререкаемую догму, и положение самого пролетариата оказалось в теоретическом отношении гораздо более важным, чем освобождение. На самом деле носителем освобождения может быть и не пролетариат. Освобождение уже предполагает свободу, и поэтому довести его до конца могут только те индивиды, которые уже свободны от потребностей и интересов господства и порабощения. Если революция не будет связана с освобождением, то потребность в господстве и порабощении перейдет в новое общество. Индивиды станут не субъектами, а объектами своего освобождения, а сама свобода окажется проблемой управления и будет «реализовываться» через приказы и распоряжения правящего класса. Такое общество вместо прогрессивного развития будет обречено на прогрессирующие репрессии. Пролетариат в новом обществе будет еще менее свободным, чем в старом. «Насколько важна связь между предреволюционным и послереволюционным пролетариатом, стало ясно только после смерти Маркса, когда свободный капитализм начал складываться в организованный. Именно это развитие и преобразовало марксизм в ленинизм и определило судьбу Советского Союза, его развитие в рамках новой системы репрессивного производства. Понятие Маркса о „свободном“ пролетариате как абсолютном

отрицании сложившегося общественного порядка отвечало модели „свободного“ капитализма, то есть общества, в котором свободное действие основных экономических законов и отношений будет приводить к обострению внутренних противоречий и превращать промышленный пролетариат в их основную жертву, равно как в сознательную действующую силу, направленную на их революционное разрешение».¹⁵¹

Именно поэтому Маркс полагал, что переход к социализму должен произойти в наиболее развитых капиталистических странах. Дело заключалось не только в том, что именно в этих странах был достигнут наиболее высокий уровень производства. Гораздо важнее было то, что именно в этих странах внутренние противоречия старого общества принимали наиболее острую форму. Однако в XX столетии именно эта острота внутренних противоречий в наиболее развитых странах стала уменьшаться, и, как следствие, сила отрицания, свойственная пролетариату, начала заметно слабеть. Пролетариат начал активно интегрироваться в систему капитализма, чему способствовал рост жизненного уровня и улучшение условий труда. «Технологический прогресс множил как потребности, так и способы их удовлетворения, но в то же время приводил к тому, что и те, и другие приобретали репрессивный характер: они сами поддерживали ситуацию господства и подчинения. Прогресс в области управления суживает сферу, в которой индивиды еще могут быть „в себе“ и „для себя“, и целиком превращает их в объекты. Возможность развивать сознание становится опасной привилегией аутсайдеров, и, таким образом, область, в которой возможен индивидуальный или совместный выход

¹⁵¹ Маркузе Г. Разум и революция. М., 2000. С. 529–530.

за положенные рамки, упраздняется, а вместе с нею — и живая стихия противостояния».¹⁵² Таким образом, процесс интеграции потенциальных революционных сил в систему капитализма приобретает тотальный характер. Именно поэтому марксистские проекты улучшения общества в конечном счете неизбежно становятся составной частью более общего гуманистического проекта.

Эту общую закономерность подтверждает, согласно Г. Маркузе, общая тенденция бюрократизации государственного и партийного аппарата в советской системе. Рост аппарата, отвечающего за контроль над производством и распределением, очень скоро выходит за рамки любого возможного группового и индивидуального контроля. Интересы самого аппарата в самосохранении и расширении оказываются безусловно преобладающими над интересами любого индивида, какую бы высокую ступеньку он сам в этом аппарате ни занимал. Отсюда анонимность и безответственность любых решений, принимаемых в такой бюрократической системе. Именно поэтому творения Ф. Кафки воспринимаются с равной силой и глубиной в обоих мирах — и в мире капитализма и в мире социализма. «Оба мира являют собой полутемный, пыльный, узкогрудый, плохо проветриваемый лабиринт канцелярий, кабинетов, приемных с его необозримой иерархией мелких и больших, очень больших и просто недостижимых чиновников и ассессоров, писарей и адвокатов, швейцаров и курьеров на побегушках, которые вкупе производят впечатление почти пародии на смешную и бессмысленную бюрократическую когорту всего канцелярского сословия».¹⁵³

¹⁵² Там же. С. 531.

¹⁵³ *Беньямин В.* Франц Кафка. М., 2000. С. 128.

Эти два мира через видимость противостояния активно содействуют развитию и совершенствованию репрессивных систем друг друга. «Консолидация капиталистической системы значительно возросла благодаря развитию советского общества. Это развитие оказало на Запад двоякое влияние. Во-первых, крушение революций в центральной Европе, совершившееся после Первой мировой войны, лишило большевистскую революцию желаемой экономической и политической основы в развитых западных странах и заставило ее, рассчитывая на свои собственные ресурсы, начать сопровождаемую террором индустриализацию».¹⁵⁴ Таким образом, в советском обществе были воспроизведены те репрессивные черты, которые Маркс выделял при описании капиталистической индустриализации. В итоге сталинизм был по меньшей мере не менее репрессивным строем, чем капитализм, но гораздо более бедным. Поэтому для жителей Запада советский социализм воспринимался как низшая ступень развития общества. «Во-вторых, впоследствии советское государство превратилось в высокорационализованное и индустриализованное общество, находящееся вне капиталистического мира и достаточно сильное для того, чтобы на его условиях начать с ним конкуренцию, бросая вызов его монополии на прогресс и его притязанию на формирование будущей цивилизации. Западный мир ответил на это тотальной мобилизацией, которая установила национальный и интернациональный контроль над опасными зонами общества».¹⁵⁵ Благодаря противостоянию советской системе западный мир достиг наивысшего уровня единства и спло-

¹⁵⁴ Маркузе Г. Разум и революция. С. 532—533.

¹⁵⁵ Там же. С. 533.

ченности. Благодаря этому противостоянию Запад осознал опасность внутренних противоречий системы капитализма и научился эффективно их устранять. В результате образовалось общество, которое в социальной теории описывается под названием «массовой культуры», «общества всеобщего благоденствия» и т. п. Такого рода терминология, выдвигая на первый план стихийный, демократический характер образования новой стадии капитализма, искусно скрывает тот факт, что большинство нововведений было инициировано «сверху», волей правящего класса. Этой же квазидемократической терминологией, по убеждению представителей Франкфуртской школы, можно объяснить и широкое использование марксистской фразеологии в советском обществе, в действительности весьма далеком от реалий, описанных в свое время Марксом. И в форме современного капитализма, и в форме советского социализма осуществляется один и тот же процесс — тотальная мобилизация репрессивного общества против освобождения индивида.

По этой причине критика советского исторического опыта в рамках Франкфуртской школы в целом совпадает с критикой западноевропейского гуманистического проекта вообще, или, как его иногда называют, «проекта Модерн». Э. Фромм рассматривает этот проект в оптике дилеммы обладания и бытия. Перевес обладания над бытием в ценностных ориентациях современного человека одновременно является и закономерным следствием реализации «проекта Модерн», и верным признаком его неудачи. В этом отношении и аутентичный марксизм является философией бытия, а не обладания, потому что, согласно самому Марксу, «роскошь такой же порок, как и нищета; цель человека быть многим, а не обладать многим. (Я говорю здесь

об истинном Марксе радикальном гуманисте, а не о той вульгарной фальшивой фигуре, которую сделали из него советские коммунисты.)»¹⁵⁶ Иными словами, советский марксизм, в отличие от марксизма самого Маркса — это уже философия обладания.

Для Э. Фромма главной ошибкой советских марксистов было превращение учения о социализме в материализм, нацеленный на достижение всеобщего блага. Более верным представлением является разделявшееся некоторыми западноевропейскими марксистами убеждение, что социализм представляет собой нерелигиозное выражение древнего пророческого мессианизма. Социализм должен предоставить каждому индивиду возможность посвятить свою жизнь не обладанию властью или богатством, а нравственному самосовершенствованию. Социализм — «это время всеобщего мира, материального изобилия и отсутствия зависти между людьми».¹⁵⁷ Э. Фромм убежден, что именно такое понимание социализма разделял и сам Маркс: «Царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального производства. Как первобытный человек, чтобы удовлетворять свои потребности, чтобы сохранять и воспроизводить свою жизнь, должен бороться с природой, так должен бороться и цивилизованный человек, должен во всех общественных формах и при всех возможных способах производства. С развитием человека расширяется

¹⁵⁶ Фромм Э. Иметь или быть? Ради любви к жизни. М., 2004. С. 42.

¹⁵⁷ Там же. С. 173.

это царство естественной необходимости, потому что расширяются его потребности; но в то же время расширяются и производительные силы, которые служат для их удовлетворения. Свобода в этой области может заключаться лишь в том, что коллективный человек, ассоциированные производители рационально регулируют этот свой обмен веществ с природой, ставят его под свой общий контроль, вместо того чтобы он господствовал над ними как слепая сила; совершают его с наименьшей затратой сил и при условиях, наиболее достойных их человеческой природы и адекватных ей. Но тем не менее это все же остается царством необходимости. По ту сторону его начинается развитие человеческих сил, которое является самоцелью, истинное царство свободы, которое, однако, может расцвести лишь на этом царстве необходимости, как на своем базисе. Сокращение рабочего дня основное условие».¹⁵⁸

Вопреки этому пониманию как марксисты в СССР, так и их оппоненты из рядов западноевропейской социал-демократии превратили социализм в чисто экономическую теорию. Целью этого социализма был объявлен максимально высокий уровень потребления, основанный на достижениях научно-технического прогресса. «Хрущев со своей теорией „гуляш-коммунизма“ по своему простодушию однажды проговорился, что цель социализма предоставить всему населению такое же удовлетворение от потребления, какое капитализм предоставил лишь меньшинству».¹⁵⁹ Такое понимание социализма основывалось на материализме, и поэтому неслучайно

¹⁵⁸ *Маркс К.* Капитал. Т. III // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 25. Ч. II. С. 386–387.

¹⁵⁹ *Фромм Э.* Иметь или быть? Ради любви к жизни. С. 176.

явно противоречащие ему идеи «молодого Маркса» расценивались как «идеалистические» заблуждения, вызванные не преодоленным влиянием Гегеля.

Советский марксизм скомпрометировал сами понятия «социализм» и «коммунизм», так как «советский режим ни в коей мере не является социалистической системой... социализм несовместим с бюрократической, ориентированной на потребление социальной системой... он несовместим с тем материализмом и рационализмом, которые характеризуют как советскую, так и капиталистическую систему». Именно эти искажения привели к тому, что в XX столетии подлинные гуманистические идеи высказываются мыслителями, никогда не считавшимися марксистами или даже явными противниками марксизма. Сам же советский марксизм был сведен к небольшому набору идеологических штампов: советские люди получают образование и воспитываются как «...марксисты; у них социалистическая система; она выражает волю людей; у них мудрые руководители, которые работают на благо человечества; стремление к выгоде в их обществе это „социалистическое“ стремление к выгоде, отличное от „капиталистического“; их уважение к собственности относится к „социалистической“ собственности и совершенно отличается от уважения к „капиталистической“ собственности и т. д.».¹⁶⁰

Общая оценка советского исторического опыта строительства социализма у Э. Фромма может быть резюмирована следующим образом. Что касается материальной стороны вопроса, что еще в период сталинизма в СССР был достигнут относительно высокий

¹⁶⁰ Фромм Э. Из плена иллюзий // Фромм Э. Душа человека. М., 1998. С. 545.

уровень производства и потребления. Репрессивная практика, нацеленная на мобилизацию трудового потенциала населения, достигла своих целей, и в продолжении террора не было необходимости. Было создано типичное полицейское государство, запрещающее критику системы и не допускающее возможности свободной политической деятельности. В то же время это государство предоставляло своим гражданам относительно высокий уровень безопасности и гарантировало соблюдение элементарной законности. Все это означало новый этап в истории советского общества, переход к которому был ознаменован хрущёвскими разоблачениями сталинизма. В сфере экономических отношений этот новый этап характеризовался завершением централизации производства и окончательным закреплением монополии государства во всех сферах общественной жизни. В сфере социальных отношений это был переход к политике обеспечения социального благополучия, повышения норм потребления, массового жилищного строительства и т. д. В правовой сфере были установлены относительно четкие границы дозволенного и недозволенного, и гражданам была гарантирована защита от полицейского и чиновничьего произвола. В сфере нравственности были провозглашены идеалы трудовой этики, весьма сходные с этикой протестантизма, и нормы консервативной морали, в которой центральными категориями становились понятия «долга», «отечества», «семьи», «патриотизма», в революционной лексике марксизма употреблявшиеся довольно редко. В целом, если вернуться к дилемме обладания и бытия, советская система сделала в этот переходный период окончательный выбор в пользу обладания. Хотя пропагандистская машина советского государства все еще использует марксизм

в качестве идеологии, какое-либо влияние на общественное сознание революционные идеи Маркса перестали оказывать. Марксизм в СССР, по убеждению Э. Фромма, играет ту же сугубо формальную роль, что и христианство в западных странах.

Но в конечном счете социальные идеалы Э. Фромма остаются связанными с социализмом: «Я верю, что ни западный капитализм, ни советский или китайский коммунизм не могут решить проблему будущего. Все они порождают бюрократию, превращающую человека в вещь. Человек должен поставить силы природы и общества под сознательный и разумный контроль, но не под контроль бюрократии, управляющей и вещами, и человеком, а под контроль свободных ассоциированных производителей, управляющих вещами и подчиняющих их человеку — мере всех вещей... Демократический, децентрализованный социализм — это осуществление необходимых условий для того, чтобы высшей целью сделать развертывание всех человеческих способностей».¹⁶¹

2.4. Феномен советской философии

Объективное и беспристрастное описание феномена «советской философии» должно выявить не только степень идеологического принуждения, сказывающуюся во всем, что этот феномен раскрывает, или, наоборот, не только степень свободы от такого принуждения. Такое описание не сможет пройти мимо некоторых, мягко говоря, странных сторон «советской философии», находивших выражение в изобретении таких

¹⁶¹ Фромм Э. Из плена иллюзий. С. 583.

причудливых предметов философской рефлексии, как чечено-ингушская, осетинская, дагестанская, башкирская, чувашская и многие другие разновидности философии народов СССР. Если такие предметы могут показаться чрезмерной экзотикой, то в тот же типологический ряд следует занести и более привычный, но не менее призрачный феномен древнерусской философии. Само существование таких предметов рефлексии свидетельствует, что в отечественной культуре философия не родилась на собственной почве (или о таком рождении уже по каким-то причинам все смогли позабыть), а была экспортирована в одной из своих более поздних и, следовательно, более развитых форм.

В пользу такого предположения об экспортировании говорит тот факт, что на почве отечественной культуры философская рефлексия закономерно забывает о своих собственных истоках. Именно поэтому в представлениях об истории отечественной философии долгое время вполне мирно уживалась идея заимствования философии и убеждение, что отечественная культура была способна к философской рефлексии на любой, даже самой ранней стадии своего существования. Заимствование подтверждается историческими фактами, но решающего значения они не получают, тогда как способность к философской рефлексии принимается за нечто несомненное, но до сих пор из-за халатности исторической науки эта способность фактами не подтверждается. Это противоречие неоднократно воспроизводится в самых различных исторических обстоятельствах, что вновь и вновь возвращает русское мышление к необходимости поставить вопрос: «Что такое философия?» Когда этот вопрос по тем или иным причинам еще не задан, под философией можно понимать все, что угодно. Даже не родившись

в качестве философии, она наделяется способностью существовать в форме богословия, художественной литературы, публицистики, но только не в своей собственной форме, не в форме философского дискурса.

Условимся в, казалось бы, вполне самоочевидных вещах: философия не может быть бессознательной деятельностью, и, следовательно, там, где есть философия, там философия знает, что она *есть*, хотя может и не обладать вполне достоверным знанием о том, *что* она есть. Под дискурсом, как это и принято, будем понимать определенную языковую формацию, которая функционирует именно в том определенном пространстве и в том определенном времени, которые предполагаются порядком самого этого дискурса. Основываясь на таком представлении, мы можем обоснованно полагать, что под внешне одинаково организованными языковыми формациями, имеющими одно и то же наименование (например, «философия» или «идеология») могут скрываться совершенно разные коммуникативные стратегии, порождающие совершенно различные значения одних и тех же знаков. Проще говоря, значение высказываний в дискурсе зависит не столько от их содержания, сколько от места и времени, когда они высказываются. Дискурсивные практики, согласно М. Фуко, «...нельзя путать с экспрессивными операциями, посредством которых индивид формулирует идею, образ, желание, ни с рациональной деятельностью, которая может выполняться в системе выводов, ни с „компетенцией“ говорящего субъекта, когда он строит грамматические фразы. Это совокупность анонимных исторических правил, всегда определенных во времени и в пространстве, которые установили в данную эпоху и для данного социального, экономического, географического или лингвисти-

ческого пространства условия выполнения функции высказывания».¹⁶²

Исходя из этого, философия как дискурс вовсе не обязательно должна рассматриваться как некий поиск истины. Такой поиск, когда философия рассматривается как определенная дискурсивная практика, становится только одной из множества возможных стратегий философии. И вполне допустимо обращаться к исследованию иных, не связанных с поиском и установлением истины, стратегий философствования, которые можно вполне успешно обнаруживать и описывать при помощи имеющихся сегодня в распоряжении исследователя аналитических техник. Так, например, поскольку психоанализ нацелен не только на установление истинного диагноза, но и на обнаружение скрывающегося под теми или иными симптомами бессознательного желания, то он в качестве аналитической техники может быть применен и к философии с целью выявления весьма важных биографических обстоятельств философского творчества и его психологических мотивов.

В то же время не следует забывать, что установление истины не связано исключительно с философскими или научными познавательными процедурами. Как утверждает уже упомянутый нами М. Фуко, «...существует две истории истины. Первая представляет собой что-то вроде внутренней истории истины, истории истины, корректирующей на основе собственных регулятивных принципов: это история истины, создающейся в рамках и на основе истории наук. С другой стороны, как мне представляется, в обществе вообще или по крайней мере в наших обще-

¹⁶² Фуко М. Археология знания. Киев, 1996. С. 118.

ствах, существует множество других сред, где формируется истина, где определены некоторые правила игры — правила, согласно которым возникают определенные формы субъективности, предметные области, определенные типы знания, — и, как следствие, на основе этого возможно создать внешнюю — для внешнего употребления — историю истины. Судебные практики, способ вменения вины и ответственности, способ, каким на протяжении истории Запада рассматривалась и определялась возможность судить людей в зависимости от совершенных ими проступков, способ, налагающий на определенных индивидов возмещение за одни действия и наказание за другие, — все эти правила и, если угодно, все эти, разумеется, регламентированные, но в то же время постоянно изменяемые в ходе истории практики представляются мне одним из способов, с помощью которых наше общество определило типы субъективности, формы знания и, как следствие, нуждающиеся в изучении отношения между человеком и истиной».¹⁶³ Разумеется, между этими двумя процедурами установления истины — научным поиском и судебным расследованием — существует связь, которая довольно сложна и не сводится к простому отражению одной процедуры средствами другой. И раскрытие характера этой связи предполагает не обращение к некой «философии вообще», а анализ философии как определенного типа дискурсивной практики. Кроме того, не следует забывать, что и само установление истины первоначально не было исключительным достоянием философии, так как, например, у греков «...истинным дискурсом — в точном и ценностно значимом

¹⁶³ Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. 2. М., 2005. С. 42–43.

смысле, — истинным дискурсом, перед которым испытывали почтение и ужас, которому действительно нужно было подчиняться, потому что он властвовал, был дискурс, произнесенный, во-первых, в соответствии с надлежащим ритуалом; это был дискурс, который вершил правосудие и присуждал каждому его долю; это был дискурс, который, предсказывая будущее, не только возвещал то, что должно произойти, но и способствовал его осуществлению, притягивал и увлекал за собой людей и вступал, таким образом, в сговор с судьбой». ¹⁶⁴

Эти соображения общего порядка совершенно необходимы, если вести речь о советской философии как о дискурсивном феномене. Дело в том, что «советская философия», рассматриваемая в качестве определенной дискурсивной практики, решает весьма специфические задачи: она нацелена на производство такой речевой формации, которая должна нормировать социальное самоопределение человека и, в случае необходимости, облегчать понимание сложнейших мировоззренческих проблем. Очевидно, что такого рода задачи противоположны задачам философии как в эпоху Нового времени, так и в эпоху постмодерна, где она концентрируется на обосновании методологии научного познания (или, реже, художественного творчества) и социальной критике. В этом отношении «советская философия», продуцирующая нормативное знание, сводящееся к применению авторитетных высказываний «отцов-основателей» марксизма к конкретной ситуации, была более близка к средневековой схоластике, также адаптировавшей мудрость «Отцов Церкви» к проблематике античной философии, зако-

¹⁶⁴ Фуко М. Археология знания. С. 54–55.

номерно возрождавшейся в рамках университетского образовательного процесса.

Возможно, именно эта близость лежит в основе того факта, что «советская философия» в настоящее время превратилась в загадочный и трудноуловимый историко-философский феномен, и ближайший доступ к этому феномену обнаруживается не в области истории философии, а в области истории национальной культуры, культурологи вообще. Об этом говорит не только тот факт, что специалиста по «советской философии» гораздо легче найти за рубежом, чем в отечественных университетах. Если в историко-философском процессе советская философия располагалась типологически рядом со средневековой схоластикой, то это по крайней мере частично объясняет, почему, как интеллектуальное явление, советская философия исчезла почти мгновенно.

Отсутствию специальных исследований по «советской философии», на первый взгляд, противоречит издание серий «Философы России XX века»¹⁶⁵ и «Философия России второй половины XX века».¹⁶⁶ Но во

¹⁶⁵ В этой серии вышли: *Зильберман Д. Б.* Генезис значения в философии индуизма. М., 1998; *Сильвестров В. В.* Культура. Деятельность. Общение. М., 1998; *Гвишиани Д. М.* Избранные труды по философии, социологии и системному анализу. М., 2007; *Юдин Э. Г.* Методология науки. Системность. Деятельность. М., 1997; *Петров М. К.* Античная культура. М., 1997, и т. д.

¹⁶⁶ См.: *Лекторский В. А.* (ред.) Генрих Степанович Батищев. М., 2007; *Юдин Б. Г.* (ред.) Эрик Григорьевич Юдин. М., 2010; *Жучкова В. А., Блауберг И. И.* (ред.) Валентин Фердинандович Асмус. М., 2010; *Толстых В. И.* (ред.) Эвальд Васильевич Ильенков. М., 2009; *Гусейнов А. А.* (ред.) Александр Александрович Зиновьев. М., 2009; *Неретина С. С.* (ред.) Михаил Константинович Петров. М., 2010 и т. д. См. также: *Андреева И. С.* Философы России второй половины XX века. Портреты. М., 2009.

всех этих изданиях те видные ученые, кому они персонально посвящены, рассматриваются, как правило, в качестве лидеров неких философских школ или групп, имевших более или менее широкий круг последователей. Сами же эти школы или группы формировались, как утверждает, в явном или тайном противостоянии официальной советской философии, то есть их своеобразие и оригинальность связываются именно с тем фактом, что эти группы или школы были не вполне советскими, если не формально, то хотя бы «по духу». Понятно, что такого рода противостояние чрезмерно преувеличивается, и назвать Э. В. Ильенкова лидером советских «неогегельянцев», а, например, В. А. Лекторского — лидером «неопозитивистов» можно только с очень большими оговорками. Неортодоксальность всех этих групп исчерпывающе охарактеризована В. В. Бибихиным: «Марксистов во всем мире, и не только полуконформистов как Ильенков, Батищев, Трубников, манило объявить с пикантной остротой, что под вполне официальным именем Маркс, казенным, таится «молодой Маркс», то есть Гегель. Это последнее в свою очередь «таилось», но «молодого Маркса» в марксистской стране вроде бы обязаны были знать, и этим рычагом марксисты-обновители хотели повернуть страну, казалось бы, послушно припавшую к Марксу, подключенную к нему через миллионные издания, через обязательные семинары «политического просвещения» и «методологии», через общеобразовательные школы. Мечталось, что если теперь через те же каналы дать «раннего Маркса», то страна снова сможет дышать мыслью, а не задыхаться в догме. Марксисты-обновители не заметили по нехватке трезвости, которой можно было научиться только у Гегеля, но не у Маркса, хотя бы и молодого, что власть очень рано охладела

ко всякому Марксу. Реформисты марксизма надеялись на наивность власти, на ее зависимость от идеологии, а власть давно уже произносила «Маркс» и думала о чем-то своем. Из-за этого система питания народа Марксом прохудилась и долго работала вхолостую, так что замысел новаторов как Давыдов, Гайденок, Мотрошилова, впрыснуть в народ через Маркса по официальным каналам молодого Маркса, а через него, пожалуй, даже немного и Гегеля, не могла иметь никакого успеха. В чем был промах этого замысла? В неспособности понять, что мысль или безусловно чиста, или ее нет».¹⁶⁷ Понятно, что «чистота» мысли связывается здесь в первую очередь с ее свободой, и следует признать, что свободой самоопределения мог в данное время пользоваться только «советский марксизм».

В то же время не только в специальных социально-гуманитарных исследованиях, но главным образом в публицистике еще в 90-е годы стихийно сложился подход к «советской философии», некритически принимаемый многими в качестве общепринятого методологического стандарта. Этот подход с самого начала отталкивался от ряда предпосылок. Во-первых, предполагалось, что после революции 1917 года русская философия, достигшая к тому моменту пика своего развития, приходит в упадок. Она оказывается в крайне неблагоприятных социально-политических условиях, и знаменитый «философский пароход» 1922 года знаменовал собой закономерное завершение свободного развития русского философского мышления. Во-вторых, пришедшая на смену «советская философия» сводилась, в сущности, к совокупности идеологем

¹⁶⁷ Бибихин В. В. Собственность. Философия своего. СПб., 2012. С. 135–136.

и представляла собой результат постепенной деградации свободной интеллектуальной культуры. В-третьих, лишь спустя несколько десятилетий под обязательной формой «советского марксизма», начинает развиваться неофициальная философская субкультура, выражающая свою деятельность в редких переводах западноевропейских текстов, в проведении наполовину запрещенных семинаров и т. п. В-четвертых, обращение «советской философии» к современным проблемам научного познания объективно преуменьшает в ней идеологические компоненты и увеличивает значение тех разделов философского знания (таких, например, как логика), которые в силу своей природы малопригодны для решения идеологических задач. Даже не учитывая, что такой подход к «советской философии» неизбежно упрощает реальную сложность и противоречивость ее истории, превращает ее в «недофилософию», следует согласиться, что этот подход отказывает ей в какой-либо историко-философской специфике, сводя все ее содержание к повторению и воспроизведению тех стадий историко-философского процесса, которые давно уже были пройдены западноевропейской философией. Задача исследователя феномена «советской философии» заключается в таком случае в своеобразном переводе ее проблематики на стандартный научно-философский язык. При этом за рамками такого «перевода» неизбежно останутся и наиболее любопытные концепты (например, несущее негативную окраску понятие «модернизма», предопределившее совершенно иное, отличное от западноевропейского, восприятие всей проблематики постмодерна), и методологические новации (например, системный подход), и довольно острые дискуссии (например, между товарниками и антитоварниками в

экономической науке, или между «природниками» и «общественниками» в эстетике). В то же время нельзя не признать, что все это «непереводимое» на язык западноевропейского историко-философского процесса своеобразия «советской философии» исчезает так же мгновенно, как и она сама.

При оценке специфики феномена «советской философии» нельзя не учитывать, во-первых, что в СССР «существовал огромный контингент лиц, занятых в весьма значительном количестве философских организаций, отличавшихся высокой печатной продуктивностью»,¹⁶⁸ а во-вторых, впечатляющие объемы изданий литературы по философским наукам, а также огромные тиражи этих изданий. «Эти неслыханные тиражи являются не только данью идеологии, но отражают и реальный спрос на эту философию. Я сам был свидетелем того, что в государственной продаже было практически невозможно. Все это, на мой взгляд, свидетельствует о сформировавшемся в довольно широких масштабах достаточно культурном философском вкусе у населения СССР».¹⁶⁹ Внешние проявления функционирования философии как социального института в СССР не могут не поражать воображение. В то же время нельзя не согласиться с Н. Плотниковым в том, что о философии в строгом смысле слова можно говорить лишь в том случае, если в обществе имеется возможность критики всех существующих дискурсов, в том числе и господствующей идеологии, а также если есть институты, на такой

¹⁶⁸ Плотников Н. Советская философия: институт и функция // Логос. 2001. № 4. С. 107.

¹⁶⁹ Сумин О. Ю. Гегель как судьба России. Краснодар, 2005. С. 161.

критике специализирующиеся.¹⁷⁰ Если в СССР такая возможность отсутствовала, то, во-первых, это обстоятельство еще не доказывает, что потребность в философии, в критическом осмыслении действительности ее средствами отсутствовала. Многие говорят о том, что в послевоенные годы такая потребность была довольно острой, и она находила свое частичное удовлетворение и в философском андеграунде, в том числе и в марксистском инакомыслии, и в увлечениях религиозным эзотеризмом, и в обращении к обсуждению философских проблем в рамках частных наук. Во-вторых, сама природа философского знания и весьма благоприятные внешние условия для его продуцирования активно содействовали тому, что идеологические ограничения свободной философской рефлексии становились все менее и менее прочными.

Есть основания предположить, что феномен «советской философии» имеет, если можно так выразиться, пограничную природу, так как он оказался возможен при одновременном наличии внешних условий, благоприятствующих становлению свободной философской мысли, и сохранении довольно жестких внешних ограничений. Это предположение подтверждается эмпирически воспринимаемыми фактами самой советской истории — при наличии одних только внешних ограничений идеологического порядка советская философия не могла существовать, но как только эти ограничения начали исчезать, а благоприятные условия в виде некоторых внешних интеллектуальных свобод еще некоторое время сохранялись и даже в какой-то степени возрастали, этот своеобразный феномен,

¹⁷⁰ Плотников Н. Советская философия: институт и функция. С. 111.

известный всем под именем «советской философии» без каких-либо промедлений канул в небытие. Иными словами, для существования советской философии были в равной мере необходимы и определенная степень интеллектуальной свободы и жесткие внешние идеологические ограничения.

Важно, что сочетание этих двух условий оказалось относительно долговременным и устойчивым, и поэтому понимание феномена «советской философии» может быть связано с обращением к таким историческим типам обществ, которые, во-первых, так же допускали некоторую степень интеллектуальной свободы, сохраняя при этом жесткие внешние ограничения, а во-вторых, имели с отечественной историей культурно-исторические связи. В этом отношении большой интерес вызывают работы Д. Б. Зильбермана, в которых советский тип общества возводится к византийской политико-религиозной культуре.¹⁷¹ Средневековая Русь заимствовала из Византии не только религиозную культуру, но и принцип организации власти, свободной от любых правовых ограничений. Советский тип общества также может рассматриваться как форма воплощения византийского принципа. Так же, как и в религиозной Византии, в советском обществе будущее имеет безусловный приоритет над настоящим, а власть рассматривается как сила, способная обустроить мир таким образом, чтобы это лучшее будущее стало неизбежным. Д. Б. Зильберман сравнивает аскетические практики западного и восточного, византийского хри-

¹⁷¹ См.: *Zilberman D. The Post-Sociological Society // Studies in the Soviet Thought. 1978. Vol. 18. P. 261–328; Zilberman D. Orthodox Ethic and the Matter of Communism // Studies in Soviet Thought. 1977. Vol. 17. P. 341–419; Zilberman D. A Social Portrait of The Soviet Intelligentsia // Theory and Society. 1978. Vol. 5. P. 277–282.*

стианства, и устанавливает, что в отличие от западной созерцательности и пренебрежения к телесному началу, восточный мистицизм, нашедший самое яркое свое воплощение в исихазме, опирается на «силовые», атлетические техники (регулировку дыхания, ежесекундное повторение «Иисусовой молитвы» и т. д.), нацеленные на преобразование человеческого тела в сосуд для восприятия божественных энергий. Из этого различия вырастает различное отношение к истине: для человека Запада истина является чем-то объективно существующим и доступным созерцанию, тогда как для человека Востока истина производится, «делается». В советском обществе, унаследовавшем в атеистической форме религиозные принципы Востока, философия как незаинтересованное знание об объективной истине, была бы невозможна. В таком обществе культурологическое и антропологическое знание может быть определено только по отношению к институту власти, за которым по умолчанию признается право на преобразовательные действия. Это отношение к власти может быть как негативным, так и позитивным, но оно в любом случае обязательно имеет место.

Главное отличие советского общества от обществ западноевропейского типа заключается в том, что СССР представляет собой идеократическое общество, общество, реализующее на практике определенный комплекс идей. Проблема в том, что таким комплексом идей является философия марксизма, являющаяся, в сущности, закономерным следствием развития западноевропейской культуры. В то же время марксизм, представляющий собой описание культуры Запада, воплощается (насколько успешно это воплощение — другой вопрос) в обществе, воспроизводящем, как мы выше видели, культурно-генетические коды Востока,

в частности Византии. Одна сторона проблемы, имеющая непосредственное отношение к теме нашего исследования, — это неизбежные искажения философии марксизма при ее воплощении в той культуре, для которой эта философия чужеродна. Марксизм, как выражается сам Д. Б. Зильберман, «сюрреализируется», обретает статус сверхреальности.

Но при этом открывается уникальная методологическая перспектива исследования природы советского общества. «Я предлагаю заняться поиском сил, которые бы позволили вскрыть „внутреннюю телеологию“ русского/советского общества и объяснить структуру и направление его развития, стремящегося к достижению различных целей, а также комплексов культурных норм. Иными словами, не конвергенция и универсализация, а напротив, дивергенция и необратимое культурное разъединение. Это — не предмет веры или мнения, а научная гипотеза, которая и должна быть рассмотрена как таковая. Я разработал концепцию того, каким образом русский/советский тип цивилизации должен анализироваться через призму его исторического устройства, религии, византийского культурного наследия, возникновения самодержавной идеи и ее влияния на все сферы общественной жизни, столкновения различных культурных и социально-экономических тенденций (упрощенно представляемых как „дилемма Восток—Запад“), а также марксизма как решающего фермента окончательной кристаллизации этого социетального типа. Стремясь противопоставить нечто весьма значительное веберовскому „протестантскому“ типу ценностной ориентации, я осуществил исследование русской религиозной традиции, со всеми ее типичными комплексами: „Страха Божия“, „Страшного Суда“ и пр.

Я начал с анализа наследия тех византийских богословов, чье воздействие на русскую ментальность оказалось самым значительным (св. Симеон, св. Максим Исповедник, св. Григорий Палама). Могу поручиться, что некоторые фрагменты их реформ выглядят как самые новейшие инструкции относительно того, как иметь дело с инакомыслием, с проблемой передела власти, моральным вознаграждением и т. п. Это то, что может быть представлено как сама суть русской ментальности в ее приложении к советскому типу общественного устройства. Перефразируя Вольтера, я мог бы сказать, что если бы марксизма не существовало, его следовало выдумать для того, чтобы довести русский/советский тип общественного устройства до его завершения. Это, конечно же, весьма краткий абрис моего исследовательского проекта».¹⁷²

Можно предположить, что у самого Зильбермана, в 1977 году погибшего в автокатастрофе, этот проект остался нереализованным, так как единственным результатом его воплощения в жизнь была опубликованная в 1977 году монография «Православная этика и материя коммунизма».¹⁷³ В названии очевидна аналогия с известной работой М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», методологическое значение которой для современной социальной теории Зильберман оценивает весьма высоко. Однако он полагает, что универсальное значение подхода М. Вебера заключается не в том, чтобы во всех культурных традициях разыскивать аналоги протестантизма, а

¹⁷² *Zilberman D.* Letter to J. Azrael. 1976. April 18. P. 4–5; 5.2.8/23. Цит. по: *Гурко Е.* Модальная методология Давида Зильбермана. Минск, 2007. С. 217–218.

¹⁷³ *Zilberman D.* Orthodox Ethic and the Matter of Communism // *Studies in Soviet Thought.* 1977. Vol. 17. P. 341–419.

в том, чтобы анализировать различные механизмы, действующие в различных культурных формациях и приводящие к образованию самих этих формаций. Роль такого механизма в культурной формации советского типа играет комплекс православной этики, который в целом оказывается созвучен философии марксизма с ее коммунистическими идеалами. И это созвучие закономерно обернулось эффектом резонанса, когда коммунистические идеалы марксизма начали воплощаться в жизнь в обществе, где православная этика играла роль нравственного кодекса поведения для подавляющего большинства населения. Таким образом, культурно-генетический код советского общества представляет собой уникальный сплав философии марксизма и православной этики. Уникальность выражается, во-первых, в том, что в этом сплаве марксизм не мог не приобрести определенные новые черты, роднящие его с религией, а во-вторых, в том, что и сама православная этика не могла не преобразиться в светскую, мирскую форму. Марксизм становится богословием советской культуры, возвращающим утраченные на Западе функции «всепонимания». Православная этика «десекуляризируется» и превращается в общеобязательный моральный кодекс поведения советского человека. (Только с этим обстоятельством на самом деле связано то сходство евангельских заповедей и морального кодекса строителя коммунизма, на которое часто указывают коммунистические лидеры посткоммунистической России; это сходство само является феноменом советской культуры.)

Как это следует из названия работы — «Православная этика и материя коммунизма» — основным объектом ее анализа является взаимосвязь материальной стороны советской культуры и православия, рассма-

триваемого в рамках византийской культурной традиции. Это не соединение идей православия и марксизма, которое на самом деле в советском обществе, декларирующем последовательный атеизм, и не происходит. Речь идет о своеобразии культурной ткани, в которой в разное время находят свое воплощение и сущностно преобразуются и византийское христианство, и марксизм. Подобно этому и М. Вебер не рассматривает современный западноевропейский капитализм как последовательное воплощение протестантизма. «Сила и влияние религиозных идей могут выходить далеко за пределы религиозного сознания. Так было на западе, применительно к протестантизму и капитализму, так случилось и в России, хотя и в иной форме, применительно к православию и коммунизму».¹⁷⁴ Именно такое — «транс-религиозное» — значение религиозных идей Зильберман и называет «сюрреализацией». Но «сюрреализация» марксизма в советской культуре — явление абсолютно уникальное для истории всего человечества. Дело в том, что для западноевропейской культуры характерен, скорее, обратный процесс — «омирщвление», секуляризация религиозных концептов, превращение теологии в философию. В русской культуре ее византийская почва оказалась настолько богатой и плодородной, что оказавшиеся в ней зерна светской философии, причем последовательно антирелигиозной, проросли зернами нового, философского догматизма. Аналогичную ситуацию Зильберман усматривал и в Индии: «Представь себе, философия времени, доросшая до религии времени, то же и для причины (судьбы), личности, пространства — со всеми

¹⁷⁴ *Zilberman D. Orthodox Ethic and the Matter of Communism.* P. 354.

проистекающими духовно-семантическими, сознательными и ритуально-культовыми следствиями».¹⁷⁵

То, что случилось в советской России, может быть понято и как определенное сближение, взаимопроникновение Запада и Востока. Философия марксизма, философия, возникшая на Западе (и «для Запада») заменила собой религию, возникшую на Востоке (и «для Востока»). Но Зильберман фиксирует и встречное движение, в рамках которого секуляризация православия завершается, но начало которого относится к гораздо более ранним временам — к эпохе формирования православного государственного абсолютизма (с идеями «Москвы как третьего Рима» и «симфонии властей»), к эпохе его перехода в политический абсолютизм (с триадой «православие, самодержавие, народность»). Но в любом случае — и при влиянии протестантизма на капитализм и при влиянии православия на советский социализм — мы имеем дело с проявлением силы религиозных идей за пределами религиозного сознания. Влияние протестантизма, выходя за пределы религиозной сферы, освобождает большинство населения для экономической деятельности. Влияние православия, выходя за пределы религиозной сферы и обретая новые силовые импульсы в марксизме, освобождает большинство населения для политической деятельности. Перераспределение деятельности в западноевропейской культуре не предполагает радикального разрыва с прежней религиозной формой, но требует некоторой переориентации в объектах поклонения, создания культа религиозно освя-

¹⁷⁵ *Зильберман Д. Б. Приближающие рассуждения между тремя лицами о модальной методологии и сумме метафизик // Пятигорский А. М. Избранные труды. М., 1996. С. 189.*

щенного труда и т. д. Перераспределение деятельности в советской культуре выражается в радикальном отрицании любых форм религиозности и в окончательном самоутверждении политического абсолютизма.

Это различие объясняется, согласно выражению самого Д. Зильбермана, «зеркальным сходством марксизма и христианства». Сближение между христианством и марксизмом предполагают «параллели и из евангельской этики, и из общинного духа раннего христианства, в смысле имущественного равенства и братства во Христе, и по принципу историзма... Коммунизм и христианство наднациональны, вселенски, всеохватны. И тот, и другое нацелены от „дня насущного“ к „дню будущему“. Оба сулят наказание за грехи. Оба следуют принципу избранничества и мессии».¹⁷⁶ Напрашивается и более любопытная параллель — между учением о личном воскресении, о бессмертии души в христианстве и учением о преодолении отчуждения человеческой сущности в обществе, уничтожившем принцип частной собственности и классовые различия между людьми. И в том и в другом случае «последние здесь будут там первыми». Более того, преодоление отчуждения самым радикальным образом преобразует человеческую природу, и такое преобразование сопоставимо с христианским воскресением «во плоти». «Итак, коммунизм возможен для аскета, отсекавшего в себе эти чаяния, превозмогшего в себе человека, духовным усилием вполне образумленного. Христианство не отрицает возможности такого духовного подвига для единиц, но никогда не требует его как правила, что нужно коммунизму. Покажем

¹⁷⁶ *Zilberman D. Orthodox Ethic and the Matter of Communism.* P. 349–350.

же, что нигде более, чем в восточном, византийско-русском православном христианстве, такая возможность была предоставлена. Пусть единицам, но осознание этой представленности высвободило массы людей для принятия коммунизма, сделало их способными прижиться в нем».¹⁷⁷

Если в западном христианстве в центре оказывается образ Распятия, образ обожествленного человеческого страдания, человеческий аспект образа Богочеловека, то в центре восточного христианства — образ Спаса Вседержителя, образ Богочеловека как Спасителя мира и как Священного Царя. Идея свободной личности, которую приносит вместе с собою в мир христианство, в восточном христианстве оборачивается идеей свободы одного — правителя, самодержца, деспота. Поэтому христианство на Востоке закономерно превратилось в обожествление духа государственности и власти, которое удивительным образом совпало с чаянием свободы для всех. В коммунистическом государстве Христос как Спас Вседержитель становится человеком, призванным к власти. Удивительно, что подобно тому, как у восточных Отцов Церкви борьба с силами зла не только не ослабевает, но и усиливается по мере приближения к Царству Божьему на земле, так и в советской России сталинского периода классовая борьба по мере приближения к коммунизму не только не ослабевает, но возрастает. Аналогия между Царством Божьим и бесклассовым коммунистическим обществом настолько широка, что и в том, и в другом случае государство независимо от того, приближает ли оно Царство Божье, или строит социализм, может пользоваться любыми, самыми

¹⁷⁷ Там же. Р. 349.

чудовищными средствами для достижения этой цели. В космократорстве коммунистического государства, в его фантастических проектах покорения природы яснее всего проступает культурная и религиозная преемственность православию Востока. И в этом отношении особая роль отводилась специфическому для Востока пониманию связи религии и государства, согласно которому фигура государя безусловно выше фигуры патриарха, а светская власть безусловно выше власти духовной.

Но если в дореволюционной России фигура самодержца еще нуждалась в религиозном символическом оправдании, то в таком случае необходимо объяснить, почему в советской культуре эта фигура сохраняла все свои права на абсолютный произвол, ничуть не нуждаясь в каком-либо «освящении свыше». Во-первых, здесь в конечном счете сказалась древняя византийская традиция иконоборчества, заимствованная отчасти русским православием и преобразившаяся в нем в антисимволизм. Во-вторых, и это гораздо важнее, на Востоке фигуре самодержца, олицетворявшего абсолютный произвол, мог быть соразмерен не индивид, а весь социум в целом. Отсюда другая важнейшая черта православной традиции — наряду с культом Вседержителя-самодержца возникает и формируется культ «общины». «Коли каждый человек, взятый в отдельности, слаб и пассивен, не следует ли объединиться страждущим, создать „общины чистой жизни“ (следуя внешне ранним евангельским образцам) и, как за стенами и частоколом, оборониться от враждебного мира? ... Подчеркиванию в нем социального, овнешненного принципа борьбы сил и необходимости предпочесть общинное — человеческому обязаны мы непосредственному генезису марксистской, комму-

нистической идеи: можно проследить ее созревание от Мюнстерской анабаптистской Коммуны до „Союза равных“ и прочих ранних форм французского социализма в XIX веке. Заметим тут же ... что данная форма коммунистического учения, пожалуй, один из немногих принципов, которые Маркс не заимствовал у Гегеля. Отсутствием в ней деятельностного методологического решения объясняется главная слабость марксистской схемы: утопизм коммунистического проекта и неразрешенность антропологической проблемы естественного, т. е. внутренней субъективности и самосознанием связанного, отчуждения. Ведь эти ереси с самого начала объективировали во внешне полярные силы и тем сняли деятельность самосознания. Очень важно отметить, что именно эта недоработанность марксизма привела к трагическим последствиям в России, где принцип общества-защитителя индивида от его же самосознания, принцип объективации добра и зла вовне был снят: можно сказать, что развитие марксизма в России было, по сути, движением назад к Гегелю».¹⁷⁸

Такое движение оказалось возможным благодаря общему концептуальному истоку и православия, и теории деятельности Гегеля, и марксизма. Этот исток Зильберман усматривает в исихазме, где медитативная и аскетическая практика предполагала определенную работу с самосознанием, проходящим в своем самосовершенствовании через многообразие иерархических ступеней, но затем, в итоге, при достижении высшей ступени или «обожения», снимавшим в себя все промежуточные состояния. Согласно Зильберману, в иси-

¹⁷⁸ *Zilberman D. Orthodox Ethic and the Matter of Communism.* P. 356–357.

хазме мы можем обнаружить духовное родство представлений и об абсолютном произволе самодержца, и об иерархическом строении религиозной общины, так как и инстанция абсолютного произвола, и иерархия общины оказываются моментами восходящего по лестнице самосовершенствования духа. Сам исихазм, в его наиболее обоснованной богословски форме паламизма — учения св. Григория Паламы о монашеской практике «умного делания», является чрезвычайно важным пунктом истории восточного христианства, так как решения Константинопольского Собора 1351 года были тем «водоразделом», который окончательно размежевал православие и западное христианство. Можно даже вести речь о паламитской революции, которая обосновала возможность прямого вмешательства Бога в человеческую историю, свела роль церкви к сохранению священного предания и сформулировала идеал духовной жизни для каждого христианина.

В то же время православная Россия не в полной мере восприняла философию паламизма. «Философия исихазма, как философия действия, известна и представлена менее всего. Быть может, русским философам и богословам было неудобно и невмоготу знать ее такой: уж очень явно сходство с гегелевской и даже с марксистской философией деятельности, особенно с их совместным методом „восхождения от абстрактного к конкретному“, так выпукло представленного в теории символизма Григория Паламы. Видимо, их утешала перспектива исследовать это сходство (которое еще не есть тождество!), и они свернули в сторону неверной театрализации „умного делания“. Впрочем, есть и момент объяснимой невольности в такой эстетизации. Как в паламитстве, с его концепцией „духовного атлетизма“, который

под силу немногим, так и вообще в православной идее святости, с одной стороны, так и в гегелевско-марксистской философии деятельности особое место занимает образ героя, особой личности: достаточно взглянуть на культ Наполеона у Гегеля, на его обоснование рациональности самовластия в „Философии права“, да и вообще на то, что „Феноменология духа“ есть картина зарождения, борьбы, гибели и воскресения „культурного героя“; а также на роль „вождя“ в коммунистическом движении, вплоть до „культа личности“ Сталина... Деятельность под силу лишь единицам... Кто не способен действовать — вынужден любоваться деяниями других, восхищаться ими. Выходит, не „красота мир спасет“, но деяния миротворителя выглядят со стороны „красивыми“ для стороннего наблюдателя, не способного действовать».¹⁷⁹

Заметим мимоходом, что отношение к исихазму как к сущностному истоку отечественной культуры, и в то же время как к истоку еще непознанному, еще не раскрывшему свое истинное содержание характерно и для исследователей постсоветской России. Хорошо известны работы С. С. Хоружего и его концепция «синергийной антропологии».¹⁸⁰ Но иногда влияние исихазма обнаруживается в весьма неожиданных, на первый взгляд, сферах, например в отечественной правовой культуре.¹⁸¹ К сожалению, автор не замечает, что его со-

¹⁷⁹ *Zilberman D. Orthodox Ethic and the Matter of Communism. P. 364–365.*

¹⁸⁰ См.: *Хоружий С. С. К феноменологии аскезы. М., 1998; Хоружий С. С. Опыт из русской духовной традиции. М., 2005. Хоружий С. С. Очерки синергийной антропологии. М., 2005; Хоружий С. С. Фонарь Диогена. М., 2010.*

¹⁸¹ *Медушевская Н. Ф. Традиции исихазма в российской правовой культуре // Труды СГА. Вып. 1 (январь). Юриспруденция.*

поставление отечественной правовой традиции и исихазма имеет негативный, а не позитивный характер, так как если формирование правосознания в русской культуре может быть связано только с усвоением наследия исихазма, то тем самым очевидный регресс правосознания в XX столетии по отношению ко второй половине XIX века оправдывается, так как наследие исихазма не было освоено ни в XIX, ни в XX веках, его еще только предстоит освоить, а пока этого не произошло, говорит о правосознании в русской культуре преждевременно. В то же время весьма показательна следующая цитата, удивительно созвучная рассуждениям Д. Зильбермана, скорее всего, автору неизвестного: «Человек должен привести в состояние боевой готовности и закалить в себе силы разума и духа, чтобы принять участие в общей борьбе. Для исихастов политическая и религиозная борьба сливаются в одно русло, направляющее войско к общей цели — утверждению государства. Но государство здесь — „иное“. Православная церковь понималась исихастами как государство без границ — славянское государство общности духа».¹⁸²

Упомянутые выше решения Константинопольского Собора 1351 года отличались своеобразным религиозно-мистическим демократизмом. Во-первых, они фактически упразднили характерную для западного христианства дилемму духовного и телесного. Дух и тело не только взаимодействуют, они перетекают друг в друга. Во-вторых, «умная молитва» открывает подлинную универсальность человеческой природы, так как не только монах-отшельник, но и любой христианин спо-

Образование. Социология. Менеджмент. Психология. Лингвистика. М., 2010. С. 5–21.

¹⁸² Там же. С. 18.

собен посредством «умного делания» с равным успехом подниматься по лестнице самосовершенствования. Напомним, что само представление об этой лестнице и ее ступенях в исихазме отождествляется с представлением об иерархической структуре религиозной общины, то есть в перспективе — всего общества в целом. Поэтому любое человеческое «Я» содержит в себе все богатство «мы», от любого «я» возможен переход к «мы».

В советской коммунистической культуре эти особенности восточного православия обретают особое измерение. «Христианство не отрицает возможности такого духовного героизма для избранных, но не требует его от большинства. Коммунизм же, напротив, обещает в некотором неопределенном будущем изобилие для всех, однако в настоящем навязывает политику крайней нужды и самоограничения, которой должны подчиняться практически все. Это базисное противоречие представляется невозможным разрешить. Мы же покажем, что именно такая возможность содержится в самом существе византийско-российского православного христианства. Верно, что обещание это давалось немногим избранным, однако именно через усвоение его массами окончательная победа советского коммунизма осознавалась как реальность, что позволяло советскому обществу расти и развиваться как жизнеспособной и саморазвивающейся системе».¹⁸³ Духовный подвиг аскетов-подвижников сменяется в советском обществе подвигом всеобщего самоограничения, но суть самого подвига остается той же самой.

В исихазме важнейшую роль играет учение о «синергии» — о необходимом сотрудничестве человека

¹⁸³ *Zilberman D. Orthodox Ethic and the Matter of Communism. P. 357.*

и Бога с целью спасения души. Это учение основывается на положительном решении вопроса о богопознаваемости. «Бог таинственен. Но познаваем. С одним лишь нюансом: познавшие Бога сами становятся таинственными. Можно ли после этого продолжать утверждать, что Божественное — таинственно? Отчего же! Бог не выходит из тайны, но сообщает ее другим, укрывая их своим таинственным покровом. Это — наиболее божественный и чрезвычайный факт: святые, обретшие понимание Бога, обрели его непостижимым образом! То есть Обожение — вполне реально, и происходит оно во плоти. Но для внешнестоящих остается непостижимым». ¹⁸⁴ Значение этой идеи также выходит за рамки исключительно религиозной проблематики. Дело не только в том, что не одни лишь подвижники, но и все христиане могут сотрудничать с Богом, то есть участвовать в историко-культурном процессе. Важно то, что это становится возможным благодаря преобразованию всей человеческой реальности, включая и самих участников «синергии». «Таким образом, История становится продуктом действия „народа избранных“, сотрудничающих друг с другом и конституирующих, таким образом, дух, прослеживаемый в своей эволюции». ¹⁸⁵ Идея мессианизма преобразуется в идею «избранного народа», чтобы затем в светской форме стать представлением о народе-подвижнике, жертвующем своими насущными благами ради построения справедливого и благоденствующего общества в будущем.

В концептуальных построениях Д. Зильбермана «встреча» марксизма и православия на культурной по-

¹⁸⁴ Там же. Р. 382.

¹⁸⁵ Там же. Р. 385.

чве России не предполагает проверку ни истинности марксизма православием, ни, наоборот, истинности православия марксизмом. Поэтому фактически вопрос о критической оценке советского опыта посредством обращения к аутентичному марксизму Д. Зильберманом не ставится. Более того, неистинность марксизма и неистинность православия уничтожают друг друга во взаимном отрицании: «...марксизм родился как анти-тезис, конвульсия западной цивилизации. Немудрено, что он смог материализоваться в потенциальном могильщике ее, в России, которая хоть и подверглась сильнейшему западному влиянию, однако сохранила и корни азиатской подлинности, имевшей в своей культуре готовые противоядия против западной неподлинности. Огромное напряжение контрастов сделало Россию страной-мучеником, местом, где попирались человеческие жизни более чем где бы то ни было, поприщем борьбы добра и зла. Таким образом, дух движения почил на России и, из-за ее начальной межеумочности, антитетически, пребыл в ней, как и пребывает поныне. Более того, русская жизнь, русская история избавили марксизм от его недоговоренности, от его западной „условности“, сделали подлинной жизнью на предельно четкой грани принятия-отвержения. Потому-то всякий коммунизм, кроме советского, — либо абстракция, либо поверхностная, неглубокая, навязанная деталь. Дело в том, что на Западе дух — мертв, и даже место его занято всякими подделками и приманками. В России дух материализовался в коммунистическом государстве: но как низменно, нецарственно его материальное воплощение! Это — мерзкое тело, но это — тело, а не привидение».¹⁸⁶

¹⁸⁶ *Zilberman D. Orthodox Ethic and the Matter of Communism.* P. 352—523.

Марксизм уникален в западноевропейской философской традиции, потому что представляет собой философию деятельности, социального активизма. Именно поэтому он смог найти свое воплощение именно в России, в стране хотя и европейской, но в то же время бывшей наследницей византийской ментальности. Но именно в России марксизм обрел подлинность своего существования, сумел проверить свои аксиомы на практике, избавиться от характерной для его теоретического бытия неопределенности и непоследовательности. Россия, в свою очередь благодаря марксизму, с новой стороны сумела осмыслить необходимость процессов «вестернизации» и модернизации, консолидировать неизбежные социальные процессы (например, урбанизацию населения), сформировать радикально позитивное отношение к достижениям научно-технического прогресса. Д. Б. Зильберман утверждает, что советский опыт воплощения марксистских идей был единственно возможным, и неудачность такого воплощения, даже возможная социальная катастрофа (о которой Зильберман также говорил) не должны искушать социальную теорию новыми попытками повторения марксистских экспериментов.

Оценивая опыт воплощения марксизма в советской России, Д. Зильберман вообще критически оценивает возможность социокультурного воплощения любой социальной теории. Поэтому речь не идет о негативной или, наоборот, позитивной оценке самого марксизма, так как он, как и любая иная философская система Запада, в отличие, например, от древнеиндийских философских даршан, не способен произвести все возможные типы модальностей понимания и не способен к самостоятельному активному смыслопорождению, в силу чего он обречен оставаться лишь

средством для внешних ему процессов смыслопорождения, например, как в рассматриваемом нами примере, характерных для православной культуры. Поэтому и крушение проекта социального воплощения марксизма, бесспорно, имеющее тяжкие и болезненные последствия, не могло обернуться крушением культуры России как таковой. Разрушение «материи» коммунизма не повлекло за собой разрушение тех способов, какими эта материя создавалась. Это разрушение не будет означать и возрождения православия, хотя искушение православным спасением России и возвратом к «утерянным ценностям» легко предсказуемо. России в постмарксистский период предстоит напряженный поиск собственной идентичности, трудная работа над созданием собственной смысловой модальности. При этом Россия неизбежно будет опираться на те механизмы культурного творчества, которые были созданы византийской традицией русского православия.

ГЛАВА 3. ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА СССР И СУДЬБЫ МАРКСИЗМА В XXI ВЕКЕ

3.1. Западный марксизм о причинах распада СССР

Известные события начала 90-х гг. XX века, повлекшие крах СССР и, как следствие, сократившие число стран, строящих социализм, до минимума, не могли не сказаться на характере и направленности неомарксистской критики советского исторического опыта. Для одних представителей западноевропейского марксизма этот крах послужил подтверждением обоснованности своей критической позиции в отношении советской системы, для других — оказался решающим поводом для пересмотра собственных концепций.

Следует признать, что, несмотря на то что в любом случае для развития марксистской теории распад СССР не мог не иметь решающего значения, однозначных выводов относительно причин этой катастрофы еще нет. Более того, в рамках самого марксизма нет еще и серьезных научно-теоретических исследований относительно этих причин, а те разнообразные мнения, которые по данному вопросу высказываются, следует отнести, скорее, к политической публицистике, в которой, как известно, идеологические мотивы чаще всего

преобладают над потребностью беспристрастного и объективного изучения предмета.

Теоретику, который мог бы приступить к решению этой важнейшей проблемы, пришлось бы немало потрудиться над целым рядом загадочных обстоятельств гибели СССР. Ему было бы необходимо объяснить, почему государство, обладавшее могущественным оборонным комплексом, экономикой, создававшей второй по размерам ВВП, колоссальным научно-техническим потенциалом, развитой системой социальной защиты населения, за сравнительно короткий срок оказалось в положении аутсайдера. Необходимо объяснить, почему эта катастрофа произошла тогда, когда страна, в сравнении с другими периодами ее истории, имела самые высокие экономические показатели и могла обеспечивать наиболее высокий уровень жизни населения. Необходимо объяснить, почему при понимании необходимости реформ и при полной их поддержке большинством населения правящий класс так и не сумел приступить к их эффективной реализации. Наконец, достаточно загадочными выглядят события 19–21 августа 1991 года, политическое безволие правящей элиты.

Наиболее популярными публицистическими версиями крушения СССР являются следующие: а) непомерные военные расходы, бремени которых не выдержала советская экономика; б) заранее запланированная ликвидация союзного государства спецслужбами, намеренными ради более успешного экономического развития сбросить балласт «нерентабельных» республик; в) сепаратизм национальных республик; г) русский сепаратизм; д) подрывная деятельность враждебных иностранных спецслужб. В этом ряду закономерно располагается и наименее вероятная версия, согласно

которой распад СССР был намеренно спровоцирован верхушкой партийного аппарата и предательством главы государства. Характерно, что ближайшее окружение М. С. Горбачёва, бывшие члены Политбюро, как правило, поддерживают эту версию,¹⁸⁷ внушая читателю, что они хотя и видели, что действия лидера партии и государства ведут к разрушению советского строя, но не имели возможности это разрушение предотвратить. Такая позиция не только позволяет избежать личной ответственности, но и свидетельствует об искреннем непонимании глубинных причин, вызвавших разрушительные экономические и политические процессы.

Серьезных научных исследований причин крушения СССР на настоящий момент еще очень немного. Так, например, В. М. Ульянов связывает распад СССР с экологическими проблемами, с истощением природных ресурсов.¹⁸⁸ Особо следует отметить исследования С. И. Нефёдова, связывающего катастрофу СССР с негативными тенденциями в демографических процессах.¹⁸⁹ Причину распада советской системы С. И. Нефёдов видит в образовании к середине 80-х годов критического объема избыточной массы городского населения. Советская система не могла

¹⁸⁷ *Гришин В. В.* Катастрофа. От Хрущёва до Горбачева. М., 2011; *Лигачёв Е. К.* Кто предал СССР. М., 2011; *Соломенцев М.* Зачистка в Политбюро. Как Горбачёв убирал «врагов перестройки». М., 2011; *Янаев Г. И.* ГКЧП против Горбачёва. Последний бой за СССР. М. 2011.

¹⁸⁸ *Ульянов В. М.* Кризис СССР. Причины и последствия. М., 1999.

¹⁸⁹ *Алексеев В. В., Нефёдов С. И.* Гибель Советского Союза в контексте истории мирового социализма // *Общественные науки и современность.* 2002. № 6. С. 66–77; *Нефёдов С. И.* Демографически-структурный анализ социально-экономической истории России. Екатеринбург, 2005.

обеспечить желаемый уровень жизни городского населения и не могла предоставить ему те формы занятости, которые были бы связаны с инициативой и заинтересованностью в результатах труда. Частично эта проблема некоторое время решалась путем занижения цен на сельскохозяйственную продукцию, то есть за счет сельского населения страны, что не могло не иметь губительных последствий для экономики в целом. Баланс удавалось поддерживать за счет продажи нефти, леса и других природных ресурсов, но при этом производительность сельского труда катастрофически падала, и недостающую продукцию приходилось опять-таки закупать за рубежом. Ситуация стала критической, когда соотношение произведенной внутри страны сельскохозяйственной продукции (прежде всего зерна) и закупаемой за рубежом уравнилось, а цены на нефть в этот же момент резко упали вниз. Правящий класс оказался неспособен поддерживать уровень жизни городского населения на прежнем уровне, он был вынужден, с целью хотя бы сохранить *status quo*, брать деньги в долг, и тем самым суверенитет государства объективно оказался под угрозой. Интересная в целом концепция С. И. Нефёдова, основанная на симпатиях к социализму, является, по его собственным признаниям, неомальтузианской: «Советский Союз был *одним из многих* социалистических государств, известных из истории различных эпох. Эти государства рождались, жили и умирали, повинуюсь одному общему закону — закону демографических циклов»,¹⁹⁰ открытому Т. Мальтусом. С. И. Нефёдов не учитывает ни хрестоматийной марксистской крити-

¹⁹⁰ Алексеев В. В., Нефёдов С. И. Гибель Советского Союза в контексте истории мирового социализма. С. 77.

ки концепции народонаселения Т. Мальтуса, ни того обстоятельства, что СССР, в отличие от многих стран третьего мира, оказался в так называемой «мальтузианской ловушке», закономерно возникающей тогда, когда рост народонаселения опережает рост производства продуктов питания, не до, а после индустриализации. Поэтому конечные причины краха СССР, следуя той же самой концепции, необходимо искать в особенностях советской индустриализации и, более широко, в особенностях советского варианта модернизации.

Причины крушения советской системы можно искать не только во внутренних, но и во внешних, глобальных процессах. Во-первых, распад СССР совпадает по времени с распадом некоторых других государств, например, Югославии, или Чехословакии, и допустимо предположить, что эти события вызваны одними и теми же причинами. Во-вторых, не следует забывать, что в эпоху Нового времени мы могли наблюдать как движение от нации к государству, то есть создание национальных государств, так и обратное движение — от государства к нации. В-третьих, характеризуя современный исторический этап развития государственности вообще, необходимо принять во внимание, что в странах третьего мира, когда в эти страны внедрялись европейские формы государственности, процесс формирования наций еще не завершился, и в результате сложилась ситуация, в рамках которой эти два процесса — функционирование заимствованного государственного аппарата и формирование национального самосознания — оказались практически друг с другом не связаны. Хотя СССР ни в коем случае нельзя относить к странам третьего мира, но очевидно, что многие проживавшие в этом государстве народности приобрели формы чуждой

им государственности тогда, когда национальное самосознание еще не было сформировано. Эти формы все же создавали благоприятные условия для национального развития, и поэтому закономерно наступил момент, когда национальное и государственное вступили в противоречие. Как свидетельствует опыт европейской истории, национальное государство являлось весьма эффективной формой социальной интеграции, и поэтому, возможно, в стремлении народов СССР обрести национальную форму своей государственности не было ничего разрушительного, так как этот закономерный процесс вовсе не исключал возможности своего завершения в рамках большого союзного государства. Больше тревоги в рамках этого процесса формирования наций мог бы вызывать экономический и политический выбор народов в пользу дальнейшего строительства социализма, так как народы СССР изначально находились на разном уровне своего развития, и это неравенство так и не было преодолено.

Несомненно, что распад СССР связан с процессами глобализации, которые и для европейских национальных государств представляли собой такой вызов истории, ответ на который требовал совершенно новых форм социальной интеграции. Эти новые формы, такие, как Европарламент, Европейский суд по правам человека, Международный уголовный суд и т. д. создаются в послевоенное время и в сравнительно короткое время развеивают все сомнения в их эффективности. К ним можно добавить экономические и информационные организации, Общий рынок, Бенилюкс, Всемирный банк, ВТО и др. Само возникновение этих структур свидетельствует, что обычные межгосударственные договоренности уже были недостаточны для решения большого круга проблем. И если Европа

начинает успешно преодолевать национальную ограниченность своих автономий, то сохранение в это же время в Восточной Европе национальных государств выглядит явным анахронизмом, а формирование национальных государственных образований в рамках СССР (хотя и с весьма ограниченным поначалу суверенитетом) закономерно оборачивается разрушительными процессами. В терминах механики эти процессы могут быть описаны как локальное взаимодействие центростремительных и центробежных сил. В то же время многие наблюдатели отмечают, что центростремительные тенденции в Европе, размывающие национальную государственность, регенерируют этнические идентификации людей, регионализм. Житель Барселоны, например, отождествляет свое положение в мире в первую очередь с Каталонией, а уж затем с Испанией.

В оптике этих особенностей процессов глобализации рассматривает дезинтеграцию советской системы Ю. Хабермас. Он полагает весьма важным то обстоятельство, что классические европейские нации образовались внутри уже существовавших государств. Кроме того, необходимо учитывать, что получившие свое завершение в образовании Европейского Союза процессы интеграции уходят корнями в далекое прошлое — к заключению Вестфальского мира 1648 г. Но и на тот момент процесс образования европейских наций еще не был завершен, и поэтому, в частности, итальянская и немецкая нация историей своего формирования более близки нациям Восточной Европы. Здесь формирование наций происходило, во-первых, путем естественного «подражания» более развитым национальным формам, а во-вторых, сопровождалось активными пропагандистскими кампаниями, рекламировавшими преимущества жизни в едином национальном простран-

стве. Иными словами, несмотря на внешне сходство, в первом случае перед нами путь от государства к нации, во втором — от нации к государству. Истории известен и третий путь образования национальных государств, связанный с освобождением стран Азии и Африки от колониальной зависимости. «Нередко эти государства, учреждаемые в границах прежних колониальных владений, получали суверенитет прежде, чем импортированные формы государственной организации могли укорениться в субстрате нации, выходящей за племенные границы. В этих случаях таким искусственным государствам еще только предстояло «заполняться» нациями, которые сливались воедино задним числом. Наконец, в Восточной и Юго-Восточной Европе тенденция к формированию независимых национальных государств продолжилась после распада Советского Союза на путях более или менее насильственного отделения; в условиях затруднительного экономического и социального положения этих стран достаточно было реанимировать старые этнонациональные призывы, чтобы мобилизовать обеспокоенное население на достижение независимости».¹⁹¹

Очевидно, что аналогичные процессы, при всем их разнообразии, происходили и на территории распадающегося СССР. Для Ю. Хабермаса природа процесса распада СССР аналогична природе распада колониальной системы после Второй мировой войны. И только пространственно-временные совпадения с процессами интеграции европейского культурного и политического предопределили те особенности распада СССР, которые отличают его от распада колониальных им-

¹⁹¹ Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб., 2001. С. 198.

перий. Центробежной силой этих интеграционных процессов объясняется стремительное формирование новых государственных образований на территории СССР или возрождение тех, что когда-то утратили свою независимость. В то же время сама эта скорость формирования новых государств предопределила то обстоятельство, что их легитимность будет обосновываться главным образом за счет обращения к исчезнувшим или полузабытым политическим традициям. Отсюда закономерно следовала особая роль этнического или религиозного фактора, так как поиск новых способов идентификации оказывался менее предпочтителен, чем обращение к старым — к единству «по крови» или по религиозным убеждениям. Причем этническое начало в большинстве случаев понимается лишь как форма более широкой принадлежности к общей культуре, а религиозный фактор используется как повод для политического противостояния.

С точки зрения западноевропейской политологии и культурологии Советский Союз был мультикультурным обществом, не имевшим в своем распоряжении цивилизованных средств находить ответы на вызовы глобализации. «Освободительные движения в мультикультурных обществах не образуют единого феномена. Они бросают разные вызовы в зависимости от того, осознают ли свою тождественность эндогенные меньшинства или благодаря иммиграции возникают меньшинства нового качества, сталкиваются ли с этой проблемой государства, на основании своей истории и своей политической культуры воспринимающие себя в качестве переселенческих стран, или же такие, чье национальное самопонимание еще только необходимо приспособить к интегрированию чуждых культур. Вызов будет тем сильнее, чем даль-

ше заходят религиозные, расовые и этнические различия или историко-культурная несинхронность, которые должны быть устранены; он будет тем болезненнее, чем более тенденции к самоутверждению принимают фундаменталистски-отмежевывающийся характер, будь это в случае, когда борющееся за признание меньшинство, пережив опыт бессилия, впадает в регрессию, или же когда оно способно пробудить сознание для артикулирования новой, конструктивно созданной тождественности лишь на путях массовой мобилизации».¹⁹² Согласно Ю.Хабермасу, государственные образования, опирающиеся на национализм населения, которое воспринимает себя как однородную в этническом и языковом отношении группу, связанную общей исторической судьбой, могут справляться с такого рода вызовами. Даже Италия и Германия, которые в сравнении, например, с Францией, были «опоздавшими нациями», способны находить эффективные ответы на вызовы эпохи глобализации. Ситуация в таких империях, как Османская, Австро-Венгерская или Советская, была принципиальной иной.

Эти имперские образования в своей политической практике ошибочно руководствовались учением о праве наций на самоопределение, сыгравшем решающую роль в формировании «классических» европейских наций. Но имперские власти сталкивались с совершенно иной ситуацией. «На примере курдов, рассеянных по пяти различным государствам, или на примере Боснии-Герцеговины, где этнические группы безжалостно уничтожают друг друга, можно четко продемонстрировать внутреннюю противоречивость «права» на национальное самоопределение. С одной

¹⁹² *Хабермас Ю.* Вовлечение другого. С. 345.

стороны, некий коллектив, воспринимающий себя как общность с собственной тождественностью, учреждая собственную государственность, достигает новой ступени признания, которая была ему недоступна как дополитической общности языка и происхождения, и даже как включенной в состав более крупного целого или раздробленной «культурной нации». Потребность быть признанным в качестве государствообразующей нации особенно усиливается в кризисные времена, когда, как это было после распада Советской империи, население цепляется за аскриптивные признаки коллективной тождественности, обновляемой задним числом». ¹⁹³ Право наций на самоопределение в таких условиях нередко оборачивается разрушительными последствиями, так как политической независимости можно на практике добиться лишь ценой гражданских войн, этнических репрессий, которые на самом деле не решают накопившихся проблем, а только сообщают им статус «вечных противоречий».

Ю. Хабермас обращает внимание на те негативные факторы европейского развития, которые возникли в связи с распадом империй. Это не только проблема миграции, с которой правительства европейских стран продолжают сталкиваться десятилетиями. Более серьезным обстоятельством является тот факт, что распад Советского Союза и сопровождающие его практики утверждения национального суверенитета пробудили к жизни и западноевропейский правый радикализм. Особенно острой, в силу известных исторических причин, эта проблема является для Германии. Здесь вновь возникает, казалось бы, уже решенный вопрос: «продолжит ли расширенная Федеративная Республика

¹⁹³ Там же. С. 356.

путь политического цивилизования или же старое „особое сознание“ явит себя в новом виде. Данный вопрос щекотлив, ибо административно протаскиваемый сверху стяжательский процесс государственного объединения задал неверную траекторию движения и в этом аспекте. Насущно необходимого разъяснения этико-политического самопонимания граждан двух государств, исторические судьбы которых значительно разошлись, до сего дня не произошло». ¹⁹⁴ Эта неопределенность национального суверенитета была вызвана уже интеграционными процессами, что дает весомый повод поставить опыт послевоенного строительства демократической Германии под сомнение. Закономерно среди самих немцев возникает убеждение, «что старая Федеративная Республика являлась воплощением вынужденной ненормальности разбитой и расчлененной нации, которая теперь, после возвращения ей ее национально-государственного величия и суверенитета, должна быть выведена из состояния забытого о власти утопизма и возвращена по предначертанному Бисмарком, проторенному державно-политическими средствами пути осознания господствующего положения в центре Европы». ¹⁹⁵

Очевидно, что для Ю. Хабермаса, для его анализа современных процессов глобализации, которые, по его убеждению, и предопределили распад СССР, принципиальное значение имеет понятие национального и государственного суверенитета. Именно здесь, как убежден Ю. Хабермас, наследие К. Маркса не утратило своей актуальности. Маркс один из первых объяснял историческую успешность и эффектив-

¹⁹⁴ Хабермас Ю. Вовлечение другого. С. 378.

¹⁹⁵ Там же. С. 379.

ность национального государства преимуществами самого государственного аппарата. Очевидно, что государственный аппарат, обладающий монополией власти над определенной территорией, собирающий с населения налоги, имеющий в своем распоряжении репрессивные механизмы, располагающий армией, способной отразить внешнюю угрозу, оказывается в состоянии лучше провести социальную и экономическую модернизацию, чем любые иные политические структуры. Это марксистское учение о суверенитете предполагает два обязательных момента. Во-первых, «суверенно лишь такое государство, которое может внутри себя поддерживать спокойствие и порядок, а вовне *de facto* защищать свои границы. Во внутренних делах оно должно умело подавлять конкурирующие проявления силы, а в международных — утверждать себя в качестве равноправного конкурента».¹⁹⁶ Суверенитет невозможен, если внутри самого государства остаются влиятельные группы, не признающие его легитимность, а на международной арене его не принимают в качестве «равного» члена сообщества государств. Таким образом, суверенитет должен быть одновременно и внешним, и внутренним.

Второй момент, на который указывал Маркс, — это отделение государства от гражданского общества. Хотя государственный аппарат сохраняет за собой административные и фискальные функции, он не осуществляет непосредственного руководства экономикой и промышленностью, он лишь заботится о наилучших условиях для экономического роста, обеспечивает юридические гарантии функционирования рынка. Предполагается, что государственный аппарат

¹⁹⁶ Там же. С. 201–202.

достигает такой степени зрелости, когда он понимает, что экономикой управляют рынки, функционирующие по своей особой логике, и контроль государства над ними невозможен. Иными словами, этот второй момент понятия суверенитета предполагает, что забота о благоденствии граждан связана не с «добрым» деспотом, который, в отличие от «злого», приносит свою жизнь в жертву ради народного процветания, а с нейтрализацией и с самоограничением власти, осознающей, что при определенных предпосылках граждане сами получают то благоденствие, которого они желают. Для Маркса это принципиально важный момент, на котором основана его критика так называемого «казарменного коммунизма», возникающего только там, где еще нет гражданского общества, и закономерно принимающего форму самого жестокого деспотизма.

В более развернутой форме концепцию крушения СССР Ю. Хабермаса воспроизводят в своей знаменитой книге «Империя» А. Негри и М. Хардт. Это крушение рассматривается ими как закономерное следствие образования новой глобальной парадигмы развития. «Наше основное положение, в котором мы едины со многими исследователями советского мира, заключается в том, что система вступила в полосу кризиса и погибла из-за своей структурной неспособности выйти за рамки дисциплинарного управления, как в отношении способа производства, который являлся фордистским и тейлористским в своей основе, так и в отношении формы политической власти, которая представляла собой социалистический вариант кейнсианства, будучи, таким образом, просто системой, осуществлявшей модернизацию внутри страны и проводившей империалистическую политику в отношении внешнего мира. Это отсутствие гибкости в адаптации системы управ-

ления и производственного механизма к изменениям характера рабочей силы усилило сложности трансформации системы. Неповоротливый бюрократический аппарат Советского государства, унаследованный от длительного периода ускоренной модернизации, поставил власть в СССР в нетерпимое положение, когда она должна была реагировать на новые требования и желания, выразившиеся возникавшими по всему миру субъективностями, сначала в рамках процесса модернизации, а затем и вне его пределов».¹⁹⁷

Неспособность советской системы ответить на вызовы глобализации не была связана с противостоянием каких-либо враждебных государств. Эти вызовы исходили из новых форм производственных отношений и новых коммуникативных структур. Как раз военное и политическое противостояние СССР и западного мира полностью соответствовало культурно-политическим кодам советской системы. СССР успешно справлялся с задачами сохранения паритета в ядерном вооружении и был готов к соревнованию в космических программах, в том числе и в их военном аспекте, выразившемся в так называемых «звездных войнах». Но новые способы обработки и хранения информации, те возможности, которые открывались в этой области благодаря персональным компьютерам, означали принципиально новое положение индивида в системе общественных связей, иную степень его самостоятельности, которая была неприемлема для советской системы.

Но к краху советскую систему привела не эта несовместимость самостоятельности индивида и тоталитарной государственной структуры. Острота противоречий внутри советской системы была вызвана тем, что к

¹⁹⁷ Хардт М., Негри А. Империя. М., 2004. С. 259–260.

началу 80-х годов средний класс в СССР уже приобрел такие права и гарантии своего существования именно в качестве среднего класса, которые, хотя и не были столь же прочными, как в западных странах, и не были, как там, связаны с экономической свободой, но тем не менее могли служить основанием для перехода советской цивилизации к новой парадигме развития, к «постмодернизации». «В капиталистическом мире широкая пропаганда в годы холодной войны и наличие необычайно сильной идеологической машины фальсификации и дезинформации не позволили оценить реальные достижения советского общества и скрытую в нем политическую диалектику. Идеология холодной войны именовала это общество тоталитарным, но на самом деле это было общество, характеризовавшееся яркими образцами свободы и творчества, такими же яркими, как циклы экономического развития и модернизация».¹⁹⁸ Советский Союз, как убеждены авторы «Империи», не был тоталитарным государством, он представлял собой общество, где господствующим классом была партийная и государственная бюрократия.

Но об этом своем господствующем положении в силу своего исторического происхождения советская бюрократия не могла заявить открыто и была вынуждена прикрываться марксистскими лозунгами. Господство бюрократии встречало в советском обществе значительное по своим масштабам сопротивление, во-первых, со стороны рабочего класса, а во-вторых, со стороны среднего класса, или «прослойки», интеллигенции. В послевоенные годы рабочий класс в Советском Союзе прибегал к тем же методам сопротивления, что и пролетариат Запада — он в самых разнообразных

¹⁹⁸ Там же. С. 260.

формах отказывался работать. Благодаря этому сопротивлению рабочий класс в СССР смог поставить перед правящим классом те же проблемы, что и пролетариат Запада. «Даже в России и других странах, находившихся под советским контролем, требование повышения заработной платы и большей свободы развивалось в соответствии с ритмом модернизации. И так же, как и в капиталистических странах, здесь определился новый образ рабочей силы, которая теперь содержала в себе колоссальные созидательные возможности, основанные на развитии интеллектуальной мощи производства. Именно эту новую созидательную реальность, интеллектуально развитые массы с их жизненной силой советские лидеры пытались запереть в рамках дисциплинарной военной экономики (угроза войны постоянно вызывалась в воображении) и загнать в тиски социалистической идеологии развития экономики и трудовых отношений, то есть в рамки социалистического управления капиталом, что не имело более никакого смысла».¹⁹⁹ Советская бюрократия могла использовать только механизмы социальной мобилизации, с которыми она генетически была связана. Парадигма постсовременности, если и предполагала мобилизацию, то это были такие ее формы, о которых советская бюрократия не имела никакого представления. Советская бюрократия испытывала перед постсовременной парадигмой страх и воспринимала ее как грядущее состояние хаоса в социальной и экономической жизни.

Ограничение прав и свобод индивида воспринималось советской бюрократией как необходимая мера предосторожности, предотвращающая наступление социального хаоса. С этой же целью искусственно сдерживалась

¹⁹⁹ Там же. С. 261.

и производительная энергия масс, которая изображалась правящей бюрократией как враждебная социализму мелкобуржуазная стихия. Поэтому классы СССР, занимавшиеся интеллектуальным и материальным трудом, в конце концов отказали правящему режиму в своей поддержке, что и обрекло советскую систему на гибель.

Переход, который не сумела осуществить советская система, был, согласно утверждениям авторов «Империи», уже описан Марксом. Это переход от дисциплинарного общества к обществу контроля, которое характеризуется интенсивным отношением «взаимного обусловливания всех общественных сил».²⁰⁰ Маркс называл его переходом от формального подчинения труда капиталу к реальному: «С реальным подчинением труда капиталу происходит полная и постоянно продолжающаяся и повторяющаяся революция в самом способе производства, в производительности труда и в отношении капиталиста и рабочего. При реальном подчинении труда капиталу наступают все ранее изложенные нами изменения в самом процессе труда. Развиваются социальные производительные силы труда, и вместе с трудом в крупном масштабе развивается применение науки и машин в непосредственном производстве».²⁰¹ Аналогичный переход представители Франкфуртской школы описывали как переход от формального к реальному подчинению культуры, всей системы общественных отношений тоталитарному государству, закономерное возникновение которого обусловлено извращением диалектики Просвещения и является следствием господства разума. Разумеется,

²⁰⁰ Там же. С. 37.

²⁰¹ *Маркс К.* Результаты непосредственного процесса производства // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 49. С. 90.

с точки зрения авторов «Империи», это не переход к более высокой ступени развития человечества, скорее, наоборот, переход от худшего состояния к наихудшему. Поэтому, казалось бы, неспособность советской системы осуществить такой переход должна характеризоваться положительно. Но, с другой стороны, страны Запада, осуществившие такой переход, демонстрируют степень своей адаптации к новым условиям, тогда как страны, неспособные перейти от общества дисциплины к обществу контроля, олицетворяемому Империей, не могут в новых условиях оставаться в прежнем состоянии и поэтому закономерно погружаются в хаос. «Сознавая все это, мы тем не менее настаиваем, что построение Империи является шагом вперед, что избавляет нас от всякой ностальгии по структурам власти, ей предшествовавшим, и заставляет отказаться от любой политической стратегии, подразумевающей возврат к прежнему положению дел, примером чего могут служить попытки восстановить национальные государства для защиты от глобального капитала. Мы заявляем, что Империя лучше в том же смысле, в котором Маркс отстаивает превосходство капитализма над предшествовавшими ему формами общества и способами производства. Точка зрения Маркса основывается на здоровом и понятном недовольстве ограниченностью и жесткостью иерархий докапиталистического общества и в равной степени на осознании того, что в новой ситуации освободительный потенциал возрастает. Как мы видим, сегодня Империя точно так же избавляется от жестоких режимов власти, присущих современности, увеличивая тем самым потенциал освобождения».²⁰²

²⁰² Хардт М., Негри А. Империя. С. 54.

Хардт и Негри допускают, что возможна двойная трактовка Империи. Согласно первому истолкованию, Империя возвышается над массами и, как новый Левиафан, подчиняет их своей власти. Эта интерпретация возможна, но она не предполагает ничего нового, так как фактически воспроизводит прежние отношения между правящей элитой и населением. Что касается второй интерпретации, то, учитывая, что переход к Империи происходит на более высоком уровне общественной производительности, возникает совершенно иная иерархия отношений власти и подчинения. Именно массы являются реальной созидательной силой нового состояния мира, тогда как Империя представляет собой аппарат власти, паразитирующий на творческой энергии масс. Империя — это власть, заявляющая о себе в качестве наднациональной силы, но именно в этом своем качестве она и лишена реальной опоры. «Империя, ее устройство получают новый смысл, смысл своего бытия благодаря созидательному движению масс, или, в действительности, он всегда присутствовал в этом процессе в качестве альтернативной парадигмы. Такой смысл всегда был внутренне присущ Империи, подталкивая ее развитие, но не в качестве негатива, из которого получается позитив, либо еще какого-то подобного диалектического решения. Он скорее действует как абсолютно позитивная сила, подталкивающая нынешнюю имперскую власть к абстрактной и лишенной содержания унификации, явной альтернативой которой он и выступает».²⁰³

Авторы «Империи» связывают социально-политические процессы последних столетий с переходами от одного вида суверенитета к другому. На смену нацио-

²⁰³ Там же. С. 71.

нальному суверенитету приходит колониальный, на смену колониальному — имперский. «Конец колониализма и снижающаяся мощь нации указывают на общий переход от парадигмы суверенитета периода современности к парадигме имперского суверенитета».²⁰⁴ Характерные для эпохи Нового времени формы суверенитета исчезают с горизонта, и теперь постмодернистские и постколониальные стратегии, считавшиеся большинством стратегиями освобождения, оборачиваются стратегиями новых форм господства. В некоторых отношениях логика формирующегося имперского суверенитета предполагает возвращение от постмодернистских и постколониальных стратегий к связанным с национальным суверенитетом проектам эпохи Просвещения. М. Хардт и А. Негри приводят примеры с комиссиями, расследующими преступления свергнутых диктаторских режимов и стремящимися установить истину, понимаемую по образцу учений просветителей, а не в духе тотальной относительности любых суждений, вытекающей из постмодернистских парадигм. Так, например, право на свободу передвижения, превозносимое в эпоху постмодерна как залог универсальной мобильности человека будущего, теми слоями населения, для которых практика освободительной борьбы составляет основное содержание их повседневной жизни, воспринимается, скорее, негативно, чем позитивно. Мобильность связывается не с увеличением возможностей, а с их ограничением, вызывающим страдания. «В нашем нынешнем имперском мире описанный нами освободительный потенциал дискурсов постмодернизма и постколониализма лишь еще более укрепляет положение привилегированных групп насе-

²⁰⁴ Там же. С. 135.

ления, которые пользуются определенными правами, определенным уровнем богатства и определенным положением в глобальной иерархии».²⁰⁵

В логику этих процессов вписывается и крушение СССР. Социализм эпохи сталинизма, бюрократический социализм, как никакой другой политический режим (если ограничиваться европейской цивилизацией) реализует идею упразднения социальной дифференциации. Провозглашая идеал социального равенства, социализм эпохи сталинизма не увеличивает спектр возможностей и не делает их доступными для большинства людей, но ликвидирует все возможные социальные ранги и фактически уничтожает идею личностного суверенитета. «Во всех исторических формах господства суверенитет, суверенность оставались сплавленными с властью. И только при советском режиме появляется очищенная от всех примесей суверенности, так сказать, отслоившаяся и в этом смысле ставшая «объективной» власть, которая избавилась от последних религиозных атрибутов. Эта объективная власть, без подтверждения аутентичностью харизмы, определяется исключительно функционально, через систему общественного труда, то есть через цель развития производительных сил».²⁰⁶ Но с точки зрения логики перехода к имперскому суверенитету эта «чистота» сталинокрации оказывается лишь видимой силой, так как ее освобождение от «всех примесей суверенности» очень скоро (по историческим меркам) оборачивается разрушением суверенитета и самой власти.

²⁰⁵ Там же. С. 151.

²⁰⁶ *Хабермас Ю.* Философский дискурс о модерне. М., 2008. С. 237.

Но пока этот суверенитет властью еще не утрачен, в глазах лишившегося суверенности общества она предстает могущественным Левиафаном, пожирающим самого себя. Рождение этого Левиафана совпадает по времени с общей секуляризацией власти, с ее «расколдовыванием». Вместе с остатками религиозной харизматичности образ властной инстанции утрачивает все признаки субъективности. Культ личности, вождизм может рассматриваться как отчаянная попытка правящей элиты «одухотворить» этот образ. В то же время параллельно этим попыткам набирает силу процесс объективации власти, процесс ее овеществления. «Фиктивная картина овеществленного советского господства эквивалентна той идее, которую Энгельс взял у Сен-Симона: на место господства человека над человеком пришел произвол вещей».²⁰⁷ Этому произволу вещей совершенно не противоречит характерное для социализма отрицание роскоши и расточительства. Воинствующий коммунизм все подчиняет целям тотальной индустриализации, и превращение человека в вещь означает в этот первый период его превращение в инструмент исправно функционирующей огромной социальной машины. Героический материализм сталинского социализма — это героизм самоотречения человека, героизм его добровольного овеществления.

Таким образом, сталинизм не освобождает человека, а продолжает ту же драму овеществления, которая связывалась Марксом с капитализмом. Согласно Марксу, в капиталистическом обществе «сам человек, рассматриваемый только как наличное бытие рабочей силы, есть предмет природы, вещь, хотя и живая, сознательная вещь, а самый труд есть материальное

²⁰⁷ Там же. С. 237.

проявление этой силы».²⁰⁸ Положительный момент, связанный с советской системой, заключается лишь в том, что это превращение человека в вещь доходит до своего логического предела.

Овеществление человеческого — оборотная сторона того романтического преобразования феодальных форм личной зависимости, традиционных форм суверенитета, которое в эпоху Нового времени находит выражение в провозглашении личных прав и свобод. Демократические процедуры, избирательное право, разделение властей, все узаконенные свободы скрывают за собой изначальное личное неравенство и, как следствие, отношения личной зависимости. Однако все реликты феодального суверенитета, все иерархии устраняются в процессе того тотального уравнивания людей, которое осуществляет советский марксизм. Таким образом, успешно решая задачу, с которой неспособна справиться система капитализма — избавление от всех форм личного неравенства — советская система выступает наследницей того строя господства вещей над людьми, который устанавливает капитализм. Овеществление человека есть камень преткновения для социализма, та всемирно-историческая задача, на высоте которой он должен оказаться, чтобы оправдать право на свое существование.

Маркс так описывает механизм овеществления: «В процессе труда деятельность человека при помощи средства труда вызывает заранее намеченное изменение предмета труда. Процесс угасает в продукте. Продукт процесса труда есть потребительная стоимость, вещество природы, приспособленное к человеческим потребностям посредством изменения формы. Труд со-

²⁰⁸ *Маркс К.* Капитал. Критика политической экономии. Том первый // *Маркс К., Энгельс Ф.* Собр. соч. Изд. 2. Т. 23. С. 213–214.

единился с предметом труда. Труд овеществлен в предмете, а предмет обработан. То, что на стороне рабочего проявлялось в форме деятельности [Unruhe], теперь на стороне продукта выступает в форме покоящегося свойства [ruhende Eigenschaft], в форме бытия. Рабочий пряд, и продукт есть пряжа».²⁰⁹ Теперь этот механизм становится тотальным, так как и рабочий оказывается носителем «покоящихся свойств» производственного процесса, он точно так же должен быть обработан, как и продукт труда. Таким образом, всеобщее овеществление распространяется и на самого человека, который также превращается в продукт труда, в товар. В соответствии с общим представлением о механизме отчуждения результат деятельности самого человека, представляющий собой выражение его сущностных сил, становится чуждым и даже враждебным его природе. Поэтому мир продуктов труда становится для человека миром чуждых сущностей, угнетающих его и угрожающих уничтожить его человеческую сущность.

В пользу того факта, что социализм продолжает начатое системой капитализма овеществление и даже доводит его до логического предела, свидетельствует обосновываемая плановым характером социалистического производства всеобщая количественная рационализация. Внимание обращают, как правило, на внешний, предметно-практический аспект этой рационализации. Но не менее важно то, что она подчиняет себе внутренний мир человека, что, в частности, выражается в предоставлении в его распоряжение набора практических и психологических шаблонов решения самых разнообразных проблем. Хотя эти шаблоны и преподносятся как универсальные, эта универсаль-

²⁰⁹ Там же. С 191–192.

ность ущерба как раз в том отношении, что в каждом конкретном случае они неприменимы именно в силу своеобразия данного случая. Когда такие шаблоны создаются, то именно внутренние, сокровенные элементы человеческой сущности отрываются от человека, гипостазированы в некие самостоятельные сущности, объективные и независимые от его воли и разума. Далее именно эти сокровенные элементы человеческой сущности становятся предметом тотальной калькуляции, включаются в общий процесс рационализации человеческой деятельности с целью увеличения ее эффективности. Таким образом, человек полностью растворяется в трудовом процессе, ради которого не только его рабочее, но и свободное время должно быть до мельчайших деталей рационализировано, учтено и использовано. Но это тотальное растворение не возвышает человека, а наоборот, превращает его в животное. «В результате получается такое положение, что человек (рабочий) чувствует себя свободно действующим только при выполнении своих животных функций — при еде, питье, в половом акте, в лучшем случае еще расположась у себя в жилище, украшая себя и т. д., — а в своих человеческих функциях он чувствует себя только лишь животным. То, что присуще животному, становится уделом человека, а человеческое превращается в то, что присуще животному. Правда, еда, питье, половой акт и т. д. тоже суть подлинно человеческие функции. Но в абстракции, отрывающей их от круга прочей человеческой деятельности и превращающей их в последние и единственные конечные цели, они носят животный характер».²¹⁰ При такой тотальной рационализации че-

²¹⁰ *Маркс К.* Философско-экономические рукописи 1844 г. // *Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Изд. 2. Т. 23. С. 91.*

ловек уже не является субъектом своей собственной деятельности, так как трудовая деятельность, в которую он не только вовлечен, но которая, как мы уже говорили, поглощает его без остатка, уже не осуществляется в соответствии с его целями. Человек подобно имплантированному органическому протезу встраивается в функционирующую по своим собственным законам машину, он не имеет возможности не только ею управлять, но и каким-либо существенным образом влиять на ее работу. Он неспособен вырваться из плена этой механической деятельности, ему суждено быть всего лишь жертвой приложения анонимных исторических сил, объектом, сохранившим в качестве рудимента некоторые собственно человеческие качества, совершенно, впрочем, бесполезные с точки зрения практики.

При нормальном положении дел предметно-практическая сфера служит не порабощению человека, а наоборот, его раскрепощению, его очеловечиванию. Предметную деятельность человека привыкли характеризовать как отношение человека к природе, как его связь с внешним миром. Но предметная деятельность имеет и другой аспект, не менее важный: она связывает человека не только с природой, но и с другим человеком, с его сознанием, с его внутренним миром. В той мере, в какой я соотношу свою энергию, свои сущностные силы с определенным предметом, в той же мере в этом предмете для меня раскрываются сущностные силы другого человека, этот предмет создавшего или его преобразившего. И наоборот, если другой человек включает в свою предметно-практическую деятельность предмет, созданный или преобразенный мною, он раскрывает в этом предмете мои сущностные силы. В этом предмете он «развеществляет» мои замыслы, мои потребности, мои акты целеполагания. Иными

словами, предметно-практическая деятельность людей и есть та сфера, где разрывается замкнутость индивидуального сознания на самом себе и возникает феномен интересубъективности человеческого сознания. Предметно-практическая деятельность, какую бы индивидуальную форму она ни принимала, является, в сущности, совместной деятельностью, связывающей и человека с природой, и человека с другим человеком. В той мере, в какой предметно-практическая деятельность раскрывает сущностные силы человека, в той мере в форме предмета человек имеет дело с другим человеком. «Предмет, являющийся непосредственным продуктом деятельности его индивидуальности, вместе с тем оказывается его собственным бытием для другого человека, бытием этого другого человека и бытием последнего для первого. Но точно таким же образом и материал труда, и человек как субъект являются и результатом, и исходным пунктом движения (в том, что они должны служить этим *исходным пунктом*, в этом и заключается историческая *необходимость* частной собственности). Таким образом, *общественный* характер присущ всему движению; *как* само общество производит человека как человека, так и он *производит* общество. Деятельность и пользование ее плодами, как по своему содержанию, так и по *способу существования*, носят *общественный* характер: *общественная* деятельность и *общественное* пользование. Человеческая сущность природы существует только для *общественного* человека; ибо только в обществе природа является для человека *звеном, связывающим* человека с человеком, бытием его для другого и бытием другого для него, жизненным элементом человеческой действительности; только в обществе природа выступает как *основа* его собственного человеческого бытия. Только

в обществе его *природное* бытие является для него его *человеческим* бытием, и природа становится для него человеком. Таким образом, *общество* есть законченное сущностное единство человека с природой, подлинное воскресение природы, осуществленный натурализм человека и осуществленный гуманизм природы». ²¹¹

Но именно эти особенности предметно-практической деятельности таят в себе огромную опасность. В силу того, что предмет может быть «его собственным бытием для другого человека, бытием этого другого человека и бытием последнего для первого», предмет может также и не раскрывать сущностные силы человека, а наоборот, их скрывать. Предметная сфера при определенных условиях не только угрожает человеку своей чуждостью, но и словно «втягивает» в себя, в свою немую вещественность уже раскрытые духовные силы человека. Происходит не персонификация вещи, не ее мнимое одухотворение, фетишизация, но деперсонификация человека, овеществление его сущностных сил. При этом вещь поглощает не только мою одухотворенность, но в силу того, что она изначально была и «бытием другого человека», эта вещь поглощает и одухотворенность этого другого человека, и его бытие для меня, и мое бытие для него. Именно в этом смысле сталинский социализм выступает как последняя ступень глобального мирового процесса, на которой овеществленный труд и суверенность (как личности, так и государства) окончательно разделяются, «очищаются» друг от друга. И этот глобальный процесс не мог не лишить суверенность власти какой-либо возможной опоры в сфере практической деятельности, то есть не мог не сделать власть беспредметной, бездеятельной.

²¹¹ *Маркс К.* Философско-экономические рукописи 1844 г. С. 117.

Крушение советской системы было предопределено самим ее появлением на свет. В ее основе изначально покоится противоречие, неразрешимое средствами самой системы.

Это противоречие выражается в ограниченности средств, которыми располагает социализм даже не в практическом отношении, но как идея социализма. Дело в том, что упразднение всех форм суверенности достигается лишь через тотальное овеществление человека, а само это овеществление может быть упразднено только посредством сохранения и развития всех форм суверенности, в первую очередь личных. Указывая на этот взаимопереход противоположностей, Ж. Батай замечает: «Если совершенное образование, которое Сталин хотел дать совершенному человеку коммунизма, было бы хоть в какой-то степени достойно своего названия, то этот человек пришел бы в мир, где сохранены свершения материальных цивилизаций и, прежде всего, тот вид суверенитета и суверенности, который, в сочетании с добровольным уважением к суверенитету и суверенности другого, отличал доисторического пастуха и охотника. Конечно, если они уважали суверенность другого, они делали это лишь фактически».²¹² Освобожденное человечество, каким его представлял себе и сам Маркс, «сделало бы взаимное уважение всех к суверенности каждого нравственной основой своей общественной жизни».²¹³

Здесь речь может идти, как это бы странно ни звучало, о марксистской эсхатологии, предполагающей возвращение человека к самому себе. Разумеется, любые

²¹² Батай Ж. Психологическая структура фашизма // Новое литературное обозрение. 1995. № 13. С. 86.

²¹³ Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. С. 243.

религиозно-философские концепции конца света являются мистификациями, но, как и любая другая мистификация, эсхатология является лишь мистификацией реально происходящих в современном мире процессов овеществления. Более того, любое описание какого-либо процесса как аномалии предполагает представление о норме, которая при аномальном отклонении искажается или вообще исчезает. Марксистская теория овеществления с самого момента своего возникновения окрашена критическим отношением к современной человеческой цивилизации, но само это отношение насыщено пафосом романтизма, истоки которого, вероятнее всего, коренятся в историософских построениях Гёте, Гердера и возможно даже Гельдерлина. Здесь особое внимание следует обратить на самые первые дефиниции будущего справедливого общества: «Коммунизм как положительное упразднение частной собственности — этого самоотчуждения человека — и в силу этого как подлинное присвоение человеческой сущности человеком и для человека; а потому как полное, происходящее сознательным образом и с сохранением всего богатства предшествующего развития, возвращение человека к самому себе, как человеку общественному, то есть человеческому».²¹⁴ Ключевой признак этого определения — «возвращение человека к самому себе» — ни в коей мере не запрещает его буквальное истолкование, в духе возврата к утерянной гармонии, обретенной когда-то на заре человеческой цивилизации, например, в античной цивилизации, а затем утраченной окончательно в обществе, основанном на господстве частной собственности. При таком истолковании и при отсут-

²¹⁴ *Маркс К.* Философско-экономические рукописи 1844 г. С. 116.

ствии ясных ориентиров для поиска этой утраченной гармонии «развеществление» человека может быть понято как его возвращение к некоему не совсем ясно определенному состоянию, находящемуся в прошлом. Идеал будущего общества в таком случае переносится в неясно очерченное прошлое.

Впрочем, проблема соотношения идеала и действительности не имеет однозначного решения. Если идеал является отражением реального опыта, то в конечном счете любой идеал будет иметь свои корни в прошлом, так как будущее еще не наступило и поэтому к реальному опыту отношения не имеет. Но, придерживаясь той же логики рассуждений, можно утверждать, что и любая, даже самая реакционная идеализация прошлого — недавнего или весьма отдаленного — есть по сути дела нечто иное, как выражение идеального представления не о том, что уже есть, а о том, что *должно* быть.

3.2. Постсоветский марксизм: основной круг проблем и перспективы развития

Крушение советского строя в СССР не могло не привести к существенным изменениям в социальной теории марксизма. Не последнюю роль в этих переменных сыграло то обстоятельство, что марксизм оказался объектом критических атак с самых разных сторон. Он стал излюбленной мишенью как для неолибералов, усматривавших в провале марксистского эксперимента верный признак наступления эпохи постмодерна, так и для неоконсерваторов, находящих еще одно подтверждение губительности любых преобразований. Необходимость, с одной стороны, отвечать

на эту массивную критику, а с другой — искать объяснение краху СССР в истоках самого марксизма послужила весьма ощутимым стимулом для развития марксистской мысли. Кроме того, такие новые феномены общественной жизни последних десятилетий, как информационная революция, глобализация, становление наднациональной бюрократии и т. п. также требовали объяснения с точки зрения социальной теории марксизма.

В отечественной социально-гуманитарной науке перед такой перспективой развития марксистской теории возникает одно специфическое препятствие. В силу понятных причин исторического порядка марксизм естественным образом отождествляется с его советской версией, а последняя, в свою очередь, неизбежно рассматривается как смягченная форма сталинского догматизма. Характерный пример — статья Е. Гайдара и В. Мау «Марксизм между научной теорией и светской религией (либеральная апология)». Авторы констатируют окончательную утрату марксизмом его позиций в общественном мнении российского общества 90-х годов: «Происходит естественная реакция отторжения. То, что насильственно навязывалось на протяжении десятилетий, отходит на задний план, а то и вовсе исчезает из интеллектуальной жизни. О марксизме не хочет думать российская интеллигенция среднего возраста, которой это учение вбивалось на почти анекдотическом уровне — „всесильно, потому что верно“. Марксизмом не интересуется молодежь, воспитанная в постсоветский период, и в лучшем случае не путает Маркса с шоколадными батончиками „Марс“. Марксизмом мало интересуются российские коммунисты. Это, впрочем, неудивительно — слишком многое в оригинальных текстах основоположника

противоречит теории и практики его нынешних официальных последователей».²¹⁵

Представляется, что такая оценка в лучшем случае является слишком поспешной, в худшем — глубоко неверной. Первое десятилетие XXI века в общественной психологии России отмечено заметным ростом левых умонастроений, в спектре которых далеко не последнее место занимает интерес к марксизму. Очевидно, что этот интерес является питательной почвой не только для сохранения ортодоксального марксизма, а также для возникновения новых вариантов неосталинизма, но и для формирования и развития нового идейного течения, которое условно можно обозначить как «постсоветский марксизм». Это течение еще не дошло в своем развитии до необходимости сформулировать общую платформу, которая объединяла бы все многообразие его проявлений. Но очевидно, что это задача времени, которая обязательно будет решена. Пока же к основным областям, где это новое течение себя со всей очевидностью обнаруживает, можно отнести: во-первых, исследование наследия наиболее талантливых представителей советского периода истории марксизма, таких, как Э. В. Ильенков,²¹⁶ М. А. Лифшиц²¹⁷ и некоторых других;

²¹⁵ *Гайдар Е., Мау В.* Марксизм между научной теорией и светской религией (либеральная апология) // Вопросы экономики. 2004. № 5. С. 4.

²¹⁶ *Лобастов Г. В.* Философия Э. В. Ильенкова // Вопросы философии. 2000. № 2. С. 169—175; *Майданский А. Д.* Понятие истины в диалектической логике Ильенкова // Свободная мысль. 2009. № 8. С. 169—178; *Мареев С. Н.* Ильенков. Ростов-на-Дону, 2005; *Наумов Л. К.* Эвальд Ильенков и мировая философия // Вопросы философии. 2005. № 5. С. 132—144.

²¹⁷ Заслуживает особого внимания публикация архивных материалов из наследия М. А. Лифшица: *Мих. Лифшиц. Что такое классика?* М., 2004; *Мих. Лифшиц и Г. Лукач.* Переписка. 1931—

свободное от идеологических предвзятостей изучение истории западноевропейского марксизма;²¹⁸ полемика с ортодоксальным марксизмом;²¹⁹ открытый, также свободный от идеологической предвзятости диалог с иными течениями в области социальной теории;²²⁰ особый интерес к специфическим феноменам общественной жизни, возникшим в последние десятилетия.²²¹ В этом ряду особое место по праву принадлежит критической оценке советского исторического опыта,²²² включая и его бесспорные положительные стороны, и его явные неудачи. В то же время следует признать, что это течение отличается пока еще некоторой аморфностью и непоследовательностью.

Тем не менее можно со всей уверенностью утверждать, что постсоветский марксизм — явление глущо-

1970. М., 2011; *Мих. Лифшиц*. Письма В. Досталу, В. Арсланову, М. Михайлову. М., 2011; *Лифшиц М. А. Varia*. М., 2010.

²¹⁸ См. например: *Земляной С.* История, сознание, диалектика. Философско-политическая мысль молодого Лукача в контекстах XXI века // Лукач Г. История и классовое сознание. М., 2003. С. 7—69; *Земляной С.* Человеческий проект Б. Брехта // Брехт Б. Ме-ти. Книга перемен. М., 2004. С. 15—38.

²¹⁹ *Науменко Л.* Незнакомый марксизм: новые вопросы и новые ответы // Альтернативы. 2011. № 1. С. 186—188.

²²⁰ *Мареев С. Н.* От Канта и Кассирера к Ильенкову: проблема идеальности человеческих чувств // Вопросы философии. 2009. № 9. С. 142—152; *Мареев С. Н.* Методология исторического исследования: социальная философия и материалистическое понимание истории // Логос. Философско-литературный журнал, 2011. № 2. С. 97—111.

²²¹ *Майданский А. Д.* Логика и феноменология всемирной истории // Вестник МГУКИ. 2005. № 3. С. 17—25; *Майданский А. Д.* История и общественные идеалы // Вопросы философии. 2010. № 2. С. 127—133.

²²² *Арсланов В. Г.* Постмодернизм и русский «третий путь». Tertium datur российской культуры XX века. М., 2007.

ко закономерное, и это течение в ближайшие годы не только не исчезнет, но, наоборот, будет успешно развиваться и расширять число своих приверженцев в академическом мире. Можно уже сейчас высказать предположения по поводу основных направлений, в которых будет развиваться это течение отечественной мысли, так как аспекты марксистской социальной теории, являющиеся особенно актуальными в настоящий момент, выражены достаточно определенно.

Прежде всего это потребность в освоении и эффективном использовании диалектического метода, понятого в его реальной сложности и глубине, а не в том упрощенном виде, как в официальном советском марксизме. Здесь имеются два наиболее перспективных направления: продолжение той традиции использования диалектического метода, которая связана с Э. В. Ильенковым, и применение диалектики в первую очередь, к социальным процессам, а не к природе, как это было в философии «диамата». Движение в этих направлениях предполагает и значительное углубление в содержание диалектического метода.

На фоне методологической беспомощности современного философского и научного мышления даже простое воспроизведение того упрощенного варианта гегелевского и марксова понимания сущности диалектики, который излагался в советских учебниках философии, имеет несомненную пользу. Понимание диалектического противоречия как единства противоположностей все чаще оказывается недоступным для научного знания наших дней. Поэтому чаще всего такое понимание противопоставляется простому формально-логическому противоречию («или-или, третьего не дано») как разновидность ученой нелепицы, совершенно бесполезной в науке. «Именно здесь

обнаружилась мистико-иррационалистическая сущность диалектического материализма как политической религии». ²²³ Диалектика оказывается всего лишь объектом историко-философского и культурологического анализа, который должен объяснить происхождение и сущность такого странного идеологического феномена. Для историко-философской науки диалектика представляет интерес как фокус преломления различных интеллектуальных течений, выходящих за пределы истории официального советского марксизма. Для культуролога диалектика представляет собой частный случай более общей проблемы соотношения философии, научного познания и идеологии, а в более отдаленном плане — конкретную форму вечного вопроса об отношениях интеллектуала и власти. Разумеется, такая интерпретация диалектики хотя и возможна, но, в сущности, свидетельствует, скорее, о полном непонимании ее природы и является признаком серьезного интеллектуального регресса.

Особенно важный аспект нового понимания диалектического метода — диалектика отрицательности, о которой выше уже шла речь. Разрешение противоречия связано с его «снятием», то есть не только с отрицанием прежнего отношения противоположностей, но и с его удержанием, сохранением. При таком понимании отрицания прежнее отношение воспроизводится на новом уровне, обогащается, что и обеспечивает переход от старого состояния к новому. В догматических версиях марксизма (в советском марксизме, в маоизме и т. д.) отрицание трактовалось не как снятие, а как уничтожение. Преодоление этих догматических версий

²²³ Попович М. В. П. В. Копнин: страницы философской биографии // Вопросы философии. 1997. № 3. С. 145.

диалектики предполагает критику господствующего в философии и в науке антиисторического подхода к процессам социальной реальности. Этот антиисторизм проявляется прежде всего в опоре на представления о «естественности» разнообразных феноменов социальной жизни и о противопоставлении им различного рода отклонений, аномалий, которые объявляются противоестественными, то есть противоречащими самой природе. Так, «естественными» могут объявляться как извечный эгоизм человека, его стремление к выгоде, так и своеобразие российской цивилизации, объясняемое чаще всего богоизбранностью русского народа. Такого рода «естественные» феномены трактуются как вечные, онтологические, то есть не имеющие исторического измерения, но, несмотря на это оказывающие на историю человечества определяющее воздействие.

В то же время, правомерно предполагая, что постсоветский марксизм будет основываться на критике официального советского марксизма, а также соответствующего ему опыта воплощения марксистских идей в реальности, не следует забывать, что формирование советского марксизма проходило под знаком господства того типа мышления, который принято называть сциентизмом. Условимся понимать под сциентизмом общую склонность или ориентированность на принятие стандартов естественных и «точных» наук для подхода к пониманию и решению всей совокупности проблем, возникающих перед обществом и человеком. На мировоззренческом уровне сциентизм выражается в стремлении искать в науке, главным образом в естествознании, ответы и способы решения всех вопросов, волнующих человека. Сциентизм как мировоззренческая позиция предполагает, что наука является единственно возможной формой воплощения способностей

человеческого разума, и поэтому научная рациональность рассматривается как универсальная рациональность. Очевидно, что все эти характеристики сциентизма, особенно его ориентация на естествознание, были свойственны и советскому марксизму. Очевидно также, что постсоветский марксизм ориентируется в этом вопросе на позицию Г. Лукача: «Ограничение метода общественно-исторической действительностью очень важно. Недоразумения, вытекающие из энгельсовского изложения диалектики, покоятся главным образом на том, что Энгельс, следуя дурному примеру Гегеля, распространяет диалектический метод и на познание природы. Но ведь самые существенные определения диалектики — взаимодействие субъекта и объекта, единство теории и практики, историческое изменение субстрата категорий, как основание их изменений в мышлении и пр. — к познанию природы неприменимы».²²⁴

Нередко данную проблему ошибочно истолковывают следующим образом: с точки зрения подлинного марксизма никакая диалектика природы невозможна, так как природа не знает развития; поэтому диалектика как метод применима только к истории, только к социальной реальности. Но дело вовсе не в том, возможна ли диалектика природы, тем более что и Маркс, и особенно Энгельс явно давали утвердительный ответ на этот вопрос. Ошибка советской версии марксизма заключается в том, что диалектика природы принимается за образец диалектики как таковой и, следовательно, считается применимой и к социальной реальности. Такое представление исходит из онтологической первичности природы и вторичности общества, его про-

²²⁴ Лукач Г. История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. С. 63.

изводности от природы. Но это уже самым очевидным образом противоречит самому духу марксизма, где природа всегда рассматривается как уже преобразованная предметно-практической деятельностью человека, то есть как всегда уже включенная в систему субъект-объектных отношений. «Природа есть категория социальная. То, что выступает как природа на определенной ступени социального развития, структура отношений между человеком и природой и способ, с помощью которого человек вступает с ней в противоборство, а следовательно смысл, который природа должна иметь в соотношении с формой и содержанием этого социального развития, с его масштабами и предметным выражением, — все это всегда социально обусловлено».²²⁵ Поэтому не диалектика природы является образцом для исследования социальных процессов, но наоборот, диалектика социальной реальности должна рассматриваться как образец, применимый и к природным процессам. В этом смысле сциентизм представляет собой диаметрально противоположность марксизму.

Это противоречие усугубляется еще и тем, что ориентиром для сциентистского мировоззрения в каждый конкретный период является обычно не наука вообще, но лишь некоторые ее направления, играющие решающую роль в научном познании в данный исторический момент. Когда-то предпочтение отдавалось математике, и идеалом правильного мышления представлялись умственные построения по ее предписаниям. Поэтому считалось, что любая отрасль научного знания должна добывать новое знание тем же способом, каким это делает математика: отсюда знаменитый принцип «универсальной математики», возникший еще в позднее

²²⁵ Там же. С. 372.

Средневековье и господствовавший в XVII—XVIII веках. Руководствуясь этим принципом, Лейбниц полагал, что правильным мышлением может быть лишь то, которое построено по образу счисления, то есть в соответствии с методом разрабатываемой им новой логики, которая позже будет названа математической логикой. В то же время экспериментальная наука долгое время ориентировалась на механику, и именно с этим обстоятельством был связан период господства механицизма, в рамках которого принципы механики распространялись на все области знания, в том числе и на медицину и на психологию. Эти примеры можно было бы продолжить, упомянув пришедший на смену механицизму органицизм, или имевшие место в конце XIX столетия попытки придать статус универсальной научной теории дарвинистской концепции эволюции. Но и без этого ясно, что сциентизм не может рассматриваться как форма универсального мышления, так как на самом деле он в каждую эпоху развития науки сообщает статус универсального знания какой-либо конкретной области познавательной деятельности.

В силу своей сциентистской природы советский марксизм старательно игнорировал принятое в европейской науке разделение «наук о природе» и «наук о духе». И именно в силу своей противоположности сциентизму постсоветский марксизм должен отнестись к этому разделению очень внимательно. Дело в том, что такое разделение ни в коей мере не является безусловным, так как довольно легко привести примеры, когда методы «наук о природе» успешно применяются в «науках о духе». Так в социологии социальные феномены изучаются объективно, с использованием математического аппарата, так, как если бы эти феномены ничем не отличались от явлений природы. Экономическая наука также

объективно, с применением математического аппарата, изучает сложнейшие процессы хозяйственной жизни общества. Для археологии, этнографии, антропологии в значительной мере характерен тот же самый подход. В то же время эти примеры не столько подтверждают применимость методов естествознания в гуманитарных науках, сколько демонстрируют ограниченность их применения. Результаты, полученные в гуманитарных науках при помощи методов естествознания, образуют лишь первоначальную предпосылку познания, но никак не завершают его. В то же время возникает опасность «натурализации» чисто социальных феноменов, и если, например, упомянутый выше Г. Лукач осознавал, в отличие от представителей советского марксизма, такую опасность, то возникает вопрос, насколько правомерным было его стремление вообще отвергнуть естественнонаучную методологию применительно к пониманию социальной реальности? Граница применения этой методологии должна быть очерчена как можно более строго, так как в ином случае марксизм, основанный на критике актуального состояния мира, может легко вернуться к той «натурализации» социальной реальности, которая была основой критики цивилизации у просветителей XVIII столетия, противопоставлявших «искусственному» характеру цивилизованного состояния человечества «естественные» отношения и потребности примитивного человека. В отечественной культуре аналогичную позицию, между прочим, занимал Лев Толстой, также видевший путь избавления от «испорченной» цивилизации во всеобщем «опрощении», в возвращении назад, к природе. Эта романтическая критика овеществления и отчуждения, сближающая марксизм с различного рода анархическими движениями, с разнообразными феноменами контркультуры и принося-

щая таким образом определенную тактическую выгоду, представляет собой значительную теоретическую опасность для постсоветского марксизма.

Разделение на «науки о природе» и «науки о духе» следует рассматривать в перспективе «естественного» развития самого научного знания, как закономерный этап его самораздвоения и конкретизации. Если выделяется особый тип научного «знания о природе», то тем самым возникает основание и для существования иного типа знания, находящего свое выражение в так называемых «науках о духе», «науках о культуре», «науках об истории». Многие сохраняющиеся и по сей день неясности этого деления, а также вызванная им критика, говорят о том, что это разделение не было «искусственным» и не являлось личным изобретением В. Дильтея или Г. Риккерта,²²⁶ а было следствием отражения объективных процессов развития науки. Характерно, что это разделение появляется именно тогда, когда экспансия позитивизма и других версий «новой рациональности» в область знаний об обществе и человеке приняла наиболее агрессивный характер. Все проекты «социальной физики» продолжали оставлять без ответа важнейшие вопросы человеческого существования. Автор «социальной физики» «Конт противопоставлял свой позитивизм критицизму просветителей и всей прежней метафизики. И социальная философия, по его замыслу, должна была служить не критике существующих порядков, а конструированию новых порядков, то есть „позитивного общества“... Именно в абстрактности и неисторизме заключался основной недостаток той не столь молодой социаль-

²²⁶ См. например: *Риккерт Г.* Науки о природе и науки о культуре. СПб., 1911.

ной философии, которая шла от Конта. Основная ошибка Конта и позитивизма вообще состояла как раз в том, что „социальная философия“ шла у него после „философии природы“. Позитивизм есть применение методов естествознания к обществу. Однако общество обнаруживает особенности, не поддающиеся объяснению с точки зрения методов естествознания, поэтому позитивизм стал дополняться „философией жизни“ и другими иррационалистическими течениями. В этой „дополнительности“ и двигалась общественная наука вплоть до последнего времени...».²²⁷

Становилась очевидной ограниченность всех попыток создания науки о человеке как эмпирической дисциплины, что демонстрировала история культурной антропологии (концепции Л. Моргана, Э. Тейлора), эмпирической психологии и других дисциплин, создаваемых по образцу эмпирического естествознания. Но из этой ограниченности следовал в целом положительный для дальнейшего развития наук о человеке и об обществе вывод. Он раскрывал специфическое своеобразие складывавшейся в области «наук о духе» познавательной ситуации. Например, эмпирическая психология, ориентировавшаяся на привычные онтологические интуиции ученого-естественника, не могла не обнаружить, что ее собственные объекты исследования — психические процессы, а также психика в целом, или «душа» — существуют лишь в той мере, в какой они овеществлены, воплощены в предметно-практической сфере, где их только и можно объективно зафиксировать. Но аналогичная ситуация легко

²²⁷ *Мареев С. Н.* Методология исторического исследования: социальная философия и материалистическое понимание истории. С. 98–99.

может быть обнаружена и в других науках о человеке. Феномен культуры предполагает не только некоторую предметность, но и ее значение, ее ценность для человека. Привычная для «наук о природе» формально-логическая схема, согласно которой сознание отражает смыслы и значения, принадлежащие самому предмету, в области «наук о духе» работает далеко не всегда. Более того, проекция этой схемы в область гуманитарного познания дает самые печальные результаты, так как в перспективе приводит к полному уничтожению всего многообразия феноменов культуры, постепенно сводя их к соответствующим материальным субстратам. Например, феномен жертвоприношения, принципиально важный для истории религии, может быть квалифицирован в таком случае как умышленное убийство, или нанесение телесных повреждений. Причем правовые нормы, наделяющие эти акты юридическим значением, также относятся к феноменам культуры и точно так же не защищены от аналогичной редукции. Не будет преувеличением утверждение, что если мы и имеем еще дело с феноменами культуры именно как с феноменами, то только благодаря тому, что данная редукция не распространилась еще достаточно широко. Если же эта редукция к материальному носителю не будет ничем ограничена, то очень скоро мы придем к такому представлению о человеческой жизни, где она будет сведена к чисто механическому манипулированию знаками.

Такая редукция может быть остановлена только выводом, что культурные феномены существуют в ином смысле, чем предметы естественного мира. Для естественнонаучных методов, если последовательно их применять, культура, общество, человек (взятый не в его анатомическом и физиологическом аспекте) лишены статуса существования. Именно поэтому спе-

цифически гуманитарная методология начинает, как правило, с того, что постоянно ищет, обосновывает и доказывает наличие своего специфического предмета исследования. И именно потому, что для естествознания подобная ситуация вообще незнакома, гуманитарное познание нередко оказывается в плену хронического недуга, который можно назвать «натуралистическим редуционизмом». Очевидно, что советский марксизм отличался осознанным или неосознанным тяготением сводить проблемы существования социальной реальности к тому виду, в каком эти проблемы принято было решать в естествознании. Не менее очевидно, что постсоветский марксизм будет стремиться избавляться от всех видов «натуралистического редуционизма». Речь идет о тех аргументах, что «в обществе, как и в природе, господствует объективная естественная закономерность и необходимость. Все это снабжается, правда, оговорками типа того, что в обществе есть не только закономерность, но и случайность, и не только необходимость, но и свобода... Поэтому Лукач и настаивал на том, что в социальной конкретной тотальности мы имеем дело с тенденциями, а не с законами в физическом смысле. Дело, конечно, не в названии. Можно говорить и о законах общественного развития. Но при этом надо постоянно помнить, что это не те же самые законы, что в физике... «Диаматчики» и «истматчики» ссылаются на то, что Маркс распространил материализм на понимание истории. И это действительно так. Но распространить материализм на понимание истории это вовсе не значит распространить материалистическое понимание природы на понимание истории. Это значило бы понимание низшей формы распространить на понимание высшей. И это как раз и был бы редуционизм. Анатомия человека — ключ к анатомии обезья-

ны, как показал Маркс, а не наоборот. Распространять материалистическое понимание природы на историю — это значит опускать человека до обезьяны». ²²⁸

Таким образом, одна из важнейших проблем, которые неизбежно встанут перед течением, названным нами постсоветским марксизмом, — это проблема онтологической данности социальной реальности. Особую значимость в решении этой проблемы приобретают накопленные историей философии представления об историзме. Так, уже у В. Дильтея историзм и социальная реальность оказываются фактически тождественными понятиями. Более того, под историей в силу такого отождествления уже нельзя понимать простое хронологически упорядоченное чередование фактов и событий, так как истинной историей становится жизнь духа, созидающего культуру, то есть социальную реальность. Именно дух переходит из одного своего состояния в другое, порождая разнообразные типы и стадии социальной реальности. Философия, сосредоточенная на проблемах духа, всегда неизбежно исторична, ее предметом и является сама история.

Марксизм не только не противостоит такому пониманию социальной реальности, но даже естественным образом продолжает и развивает его. Классические марксистские представления о человеке в первую очередь историчны. Человеческая личность раскрывается в марксизме как сложное и противоречивое единство различных элементов: индивидуальности («индивидуальности»), социальности (так как «человек есть... в своей действительности совокупность всех общественных отношений») и природного, натуралистического изме-

²²⁸ *Мареев С. Н.* Из истории советской философии: Лукач—Виготский—Ильенков. М., 2008. С. 69.

рения. Самое важное, что только во взаимодействии с другими людьми, а также с природой, отдельно взятый человек и оказывается человеком, частью, стороной социального целого, общечеловеческой тотальности. Только таким образом человек выходит за пределы своего индивидуального бытия, за пределы «абстракта, присущего отдельному индивиду», и исторический процесс есть не что иное, как возвращение человеком самому себе своей человеческой сущности. «В некоторых отношениях человек напоминает товар. Так как он рождается без зеркала в руках и не фихтеанским философом: „Я есмь я“, то человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку. Вместе с тем и Павел как таковой, во всей его павловской телесности, становится для него формой проявления рода „человек“.²²⁹ Аналогичное понимание мы можем обнаружить и у А. Грамши: «Человека следует понимать как исторический блок, состоящий из элементов чисто индивидуальных и субъективных и элементов массовых и объективных, или материальных, с которыми индивид поддерживает активные отношения. Преобразовывать внешний мир, общие отношения означает усиливать самого себя, развивать самого себя. Представлять себе этическое „улучшение“ как дело чисто индивидуальное — это иллюзия и заблуждение...».²³⁰

Еще одна важнейшая методологическая проблема, неизбежно встающая перед постсоветским марксизмом — это преодоление культурно-цивилизационного

²²⁹ *Маркс К.* Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. М. Т. 23. С. 62.

²³⁰ *Грамши А.* Тюремные тетради: В 3-х ч. М., 1991. С. 22.

партикуляризма. Дело в том, что решение этой проблемы не сводится к критике разнообразных теорий культурно-исторических типов, которые, безусловно, противоречат тем представлениям о едином историческом процессе, к которым типологически принадлежит и марксистская социальная теория. В постсоветской России эти теории приобретают особую популярность в силу целого ряда причин, на которых целесообразно остановиться.

Но прежде следует заметить, что, отказывая теориям культурно-исторических типов в статусе универсальной социальной теории, способной объяснить исторический процесс в целом, ни в коей мере не стоит утверждать, что эти теории вообще не имеют никакой методологической ценности. Их значение для развития культурно-исторической компаративистики, исследующей проблему взаимодействия культур с различными ценностно-организующими матрицами или структурами, трудно переоценить. Сами эти проблемы возникают вполне закономерно и естественно в истории человечества, и внимание к ним со стороны наук о человеке понятно и объяснимо. Основная тематика культурной компаративистики и главные подходы к решению возникших в ее рамках проблем определились уже к концу XIX столетия. Именно в это время появляются теории культурно-исторического партикуляризма, утверждавшие герметичность и принципиальную плюралистичность культурных типов и поэтому исключавшие возможность сущностного единства различных культур и возможность единого исторического процесса (О. Шпенглер, Ф. Конечны, Н. Я. Данилевский и др.). В этом же ряду возникали и более умеренные теории, допускавшие некоторые виды продуктивных контактов между цивилизациями (А. Тойнби). Исторический процесс здесь изображался

как трансформация материнской (стержневой) цивилизации в ряд последующих, дочерних, с постепенным дроблением и исчерпанием ее культуротворческого потенциала. Определенное значение и распространение получили теории, выводящие различие цивилизаций из различий этнопсихических структур ее носителей и рассматривающие различные типы цивилизаций с точки зрения форм преимущественной реализации специфических свойств человеческой активности: эмоциональной, душевной, умственной (П. Сорокин).

Но в целом все теории замкнутых культурно-исторических типов находятся в явной оппозиции европоцентристскому восприятию истории как непрерывного прогресса, поступательного «улучшения». Что касается самой европейской цивилизации, то она, как правило, и в теориях исторического прогресса и в теориях культурно-исторических типов рассматривается как единая норма цивилизованности вообще. Это совпадение возникает неслучайно, и, как мы постараемся показать далее, именно оно и раскрывает тайну теорий замкнутых культурно-исторических циклов, их социальную сущность. Есть все основания утверждать, что теории культурно-исторических типов, при всем их разнообразии, служат весьма удобным средством идеологического обоснования политических практик, распространенных в тех странах «третьего мира», которые проводят политику сохранения своей культурной самобытности.

Здесь необходимо учитывать, что реалии современного мира таковы, что везде, где мы можем встретить политику сохранения «культурной самобытности», решающей проблемой становится совмещение в рамках одного социально-экономического строя как минимум двух хозяйственных и культурных укладов: традицион-

ного, который коренится в архаических и доисторических стадиях существования данной страны или данного народа, и западного, связанного с развитием промышленности, транспорта, торговли и финансов, привнесенного извне, но наглядно демонстрирующего свои преимущества. Практическая возможность совмещения этих двух укладов упирается в представления о несовместимости двух культурно-исторических типов, европейского и традиционного, которые по большому числу признаков друг другу противостоят, и лишь по немногим параметрам друг с другом сближаются. И европейский, и традиционный уклады имеют своих приверженцев из числа представителей различных социальных групп и слоев. Крестьянство, землевладельцы явно заинтересованы в сохранении культурной и хозяйственной самобытности и стремятся к изоляции страны от внешних влияний. Городское население, предприниматели, торговцы заинтересованы в модернизации своей страны по европейскому образцу. В такой ситуации решающая задача правящего политического класса — найти компромисс между этими склонными к острому противостоянию силами, что позволит сохранить целостность страны и в то же время обеспечить ее развитие.

Здесь на помощь правящей элите приходит тот или иной вариант учения о замкнутых культурно-исторических типах, позволяющий достичь оптимального сочетания интересов этих двух политических и культурных сил. «Во-первых, самобытность развития гарантируется теорией культурно-исторических типов уже в силу того факта, что эти типы всегда развиваются по своим собственным законам, и иное развитие просто невозможно. Во-вторых, появление в рамках данного самобытного культурно-исторического типа признаков, характерных для европейской цивилиза-

ции, объясняется не вредоносным влиянием извне, а внутренними закономерностями развития. В-третьих, сторонники модернизации по европейскому образцу могут, пользуясь теорией культурно-исторических типов, преподносить свои активные действия как нацеленные именно на сохранение национальной и культурной самобытности. Наконец, эта теория лучше любой другой объясняет возможность мирного сосуществования в рамках одного культурного типа двух различных экономических укладов, которые отождествляются со стадией культуры и стадией цивилизации, закономерными стадиями развития любого культурно-исторического типа».²³¹ Кроме того, теории замкнутых культурно-исторических типов выполняют и компенсаторную функцию. Учитывая, что культурно-исторический цикл изображается по образцу развития живого организма, с характерными стадиями рождения, роста, зрелости и старения, соответствующего цивилизации, слаборазвитые страны «третьего мира» всегда могут оправдывать низкий уровень жизни необходимостью сохранения культурной и хозяйственной самобытности. В то же самое время разрушение традиционного уклада вследствие процессов модернизации может быть обоснована необходимостью перехода к стадии цивилизации, где традиционные ценности закономерно отходят на второй план.

Разумеется, Россия не относится к странам третьего мира. Но известные особенности процессов модернизации в России — «догоняющий» характер экономического и социального развития, длительное сохранение сельской общины, преобладание коллективистских

²³¹ Кузнецов Ю. В. Русский мир на пути к общечеловеческому единству. Историчесофские концепции. Мурманск, 2011. С. 94–95.

ценностей над индивидуализмом и т. д. — предопределяют то обстоятельство, что многие из описанных выше признаков хорошо знакомы и отечественной культуре. Поэтому в России закономерно формируется идеология национального и культурного своеобразия, выражающаяся, в частности, в немотивированной критике европейской цивилизации, якобы переживающей тяжелый духовный кризис, в апологетике национальной исключительности, а то и «богоизбранности» русского народа, в особой исторической миссии российской цивилизации. Одна из первых теорий замкнутых культурно-исторических типов — теория Н. Я. Данилевского — была создана как ответ на те же самые проблемы, с которыми позже, уже в XX столетии, будет сталкиваться третий мир.²³² Ситуация противостояния России и Европы во второй половине XIX столетия, а также первые шаги на пути модернизации, которые совершала Россия, были в целом аналогичны противостоянию стран третьего мира и стран развитого Запада в XX веке. В то же время и в случае России второй половины XIX века и в случае стран третьего мира речь должна идти не только о противостоянии Западу, но и об определенном сближении с ним. В этом смысле в СССР политика «строительства социализма в отдельно взятой стране» также была одновременно и противостоянием «враждебному окружению» западного мира и приближением к уровню наиболее развитых европейских стран.

В советском марксизме тяготение к теориям культурно-исторических типов выразилось в учении об общественно-экономических формациях. Необходи-

²³² См.: Бажов С. И. *Философия истории* Н. Я. Данилевского. М., 1997.

димо учитывать, что вошедшая в учебники интерпретация этого учения — согласно которой таких формаций в истории насчитывается пять (первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая) — является лишь одной из возможных. У самого Маркса встречается и иное представление, в соответствии с которым формации различаются не по способу производства, а по типу собственности, и таких формаций он выделяет три: первичную, основанную на общей собственности, вторичную, основанную на частной собственности, и третичную, или коммунистическую. «Земледельческая община, будучи последней фазой первичной общественной формации, является в то же время переходной фазой ко вторичной формации, то есть переходом от общества, основанного на общей собственности, к обществу, основанному на частной собственности. Вторичная формация охватывает, разумеется, ряд обществ, основывающихся на рабстве и крепостничестве».²³³ В другом месте Маркс также говорит о трех формациях, но на этот раз связывает их разделение с характером экономической связи между субъектами производства: «Отношения личной зависимости (вначале совершенно первобытные) — таковы те первые формы общества, при которых производительность людей развивается в незначительном объеме и в изолированных пунктах. Личная независимость, основанная на вещной зависимости, — такова вторая крупная форма, при которой впервые образуется система всеобщего общественного обмена веществ, универсальных отношений, всесторонних потребностей и универсальных потенций. Свободная индиви-

²³³ Маркс К. набросок ответа на письмо В. И. Засулич // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 19. С. 419.

дуальность, основанная на универсальном развитии индивидов и на превращении их коллективной, общественной производительности в их общественное достояние, — такова третья ступень».²³⁴

Таким образом, в постсоветском марксизме догматическое следование одной из возможных интерпретаций вовсе не является обязательным. Наоборот, возникает потребность в более глубоком осмыслении марксистского учения о формациях, в раскрытии его фундаментальных теоретических оснований. Эти основания могут быть выражены в одновременном признании эмпирического многообразия культур, в признании того, что различные общества могут находиться на различных стадиях исторического развития, и в представлении о едином цивилизационном процессе человеческой истории. Единство исторического процесса проявляется именно в многообразии культурных формаций. Более того, само это единство человеческой истории вовсе не является изначально данным, и на самых первых стадиях различные культуры неизбежно оторваны друг от друга, разобщены, в том числе и в силу отсутствия технических возможностей для взаимодействия между ними. Однако по мере развития материально-технических средств коммуникации и экономических основ, создающих материальные предпосылки и потребности общения (мировой рынок капитализма и единое экономическое пространство) начинает формироваться общечеловеческое единство и единый исторический процесс как реальность. В рамках самого этого процесса происходят изменения, выравнивающие уровни развития, создаю-

²³⁴ *Маркс К.* Критика политической экономии // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 46. Ч. 1. С. 100–101.

щие эффекты конвергенции, активно способствующие взаимодействию и взаимопроникновению культур. Общекультурное единство человечества формируется на самых разных уровнях: на технологическом, социальном, информационном и даже религиозном.

Этот процесс формирования общечеловеческого единства включает в себя две стороны, или тенденции, на которых следует особо остановиться. Назовем эти тенденции социализацией и приватизацией. Социализацию следует понимать как процесс возникновения и прогрессирующего разветвления системы социальных институтов различного уровня и социального статуса с различной функциональной спецификацией, но выступающих или используемых в качестве орудия реализации интеграционных интересов, а не частных. Одна из особенностей проявления социализации на уровне этих институтов состоит во введении регуляторов, регламентирующих поведение социальных субъектов, направленное на реализацию частного интереса, а также в ограничении прав и свобод либо по номенклатуре, либо по характеру использования. Приватизацию в самом общем смысле можно представить как такой тип социального поведения индивида или ограниченной общности индивидов, содержанием которого являются присвоение материальных и духовных благ, приобретение прав, свобод или социально-культурных преимуществ, реализации вообще всех притязаний. То, что при этом могут быть использованы в инструментальном смысле и социальные институты, не меняет существа этой тенденции. Как стороны действительного противоречия, данные процессы вступают в сложнейшие взаимодействия и обуславливают друг друга. В общественно-историческом процессе они выступают как стороны единого общеси-

стемного противоречия, обеспечивающего динамику общественного развития.

Конкретно-исторические формы, в которых могут выступать обе тенденции, как и формы их взаимодействия, чрезвычайно многообразны. Однако к их традиционной оценке существуют устоявшиеся подходы. Интуиции, на которых эти подходы основаны, отнюдь не беспочвенны и представляют собой специфический способ выражения и обобщения социального опыта. Приватизационная тенденция как специфическая установка человека понимается в большей мере соотносимой с человеческой сущностью, как более «естественная» и первичная, нежели противоположная ей тенденция социализации. В рамках приватизации человек не столько реализует свои эгоистические притязания, сколько утверждает и развивает свою индивидуальность. Состязательность, которая проявляется в приватизационной тенденции, ставит человека в пороговые ситуации, постоянно создает сопутствующее ощущение риска, формирует в нем ценные динамические качества личности. Проблема свободы при таком понимании решается через ее соотнесение с проблемой собственности, с правом обладания, как естественным состоянием человека, защищаемым социальными институтами и установлениями. Человек, лишенный собственности, гарантирующей его независимость в имущественном отношении, и, как следствие, выживаемость, лишается возможности проявить себя как независимый агент общественной жизни. Таким образом, в социально-антропологическом отношении свобода, как выражение личности, прочно связана с приватизационными тенденциями общественной жизни в положительном смысле. Конечно, приведенная трактовка гуманистической сущности приватизационной тенденции

остается неполной: она не выражает противоречивого характера ее конкретного проявления, опосредованного социокультурными предпосылками и экономическими условиями того общества, в котором она проявляется.

Тенденция социализации традиционно мыслится вторичной, относящейся к производному, а не первичному уровню социальной реальности. Хотя она воспринимается как объективная тенденция, как «естественно-исторический процесс», но на самом деле лишена глубинного антропологического измерения. Такое отношение к социальности, как установлению человека, зафиксировано уже в античности и в различных вариациях дошло до нашего времени. Она мыслится сферой проявления «принципа рациональности», устанавливающего, регулирующего и регламентирующего социальную жизнь как форму коллективной жизни. Поэтому считается естественным видеть в этой сфере проявления проективно-конструктивной (преобразовательной) деятельности человека. Ее осуществление может быть различным по методам и технике социального творчества. Она может иметь характер реформационных преобразований, притязающих на различную глубину, размах и скорость социальных трансформаций, либо же характер насильственного проведения программы революционных изменений. Особенностью современного отношения к пониманию социальных процессов как раз и является выраженное стремление придать им рациональный характер, то есть подчинить исторический процесс идеологической мотивации. Важно подчеркнуть, что приватизационная тенденция понимается как нечто глубинное, соответствующее человеческой сущности, и вследствие этого социальные отношения, в которых она воплощается, как более фундаментальные и естественные. Соци-

лизация же, связываемая с представлениями о процессах, ограничивающих приватизационные проявления человеческой деятельности, и с созданием институтов, реализующих совокупные, коллективные интересы, в этом смысле представляется вторичной.

Социализм, как реально существующий тип общественного строя, возникает на почве абсолютизации той стороны общественной жизни, которая связана с социализацией. Поэтому он выступает в качестве гипертрофированного механизма реализации общественного интереса, неизбежно подавляющего естественный интерес частного человека. Критические аргументы, освещающие реальные последствия этого социально-исторического эксперимента, слишком хорошо известны, чтобы была необходимость на них здесь останавливаться. Обратим внимание лишь на один момент в теоретических построениях марксистской теории, момент, который, как нам представляется, оставался вне поля зрения историков социальной мысли. Он заключается в определенном способе понимания тенденции социализации, который характерен для марксизма. Именно рассматривая общественную собственность как социальный институт в исторической ретроспективе, марксистская теория приходит к заключению, что этот институт является первичным по отношению к институтам, выражающим тенденцию приватизации, а потому более фундаментальным и более «естественным». Именно поэтому марксистскую социальную теорию интересуют различные реликтовые формы коллективного общежития и владения (задруги, общины и т. п.), в которых она видит остатки исторически первичных типов общежития, когда-то универсально распространенных, но утерянных в ходе утверждения обществ с приватизационными со-

циальными структурами. Этим же можно объяснить и повышенное внимание к тому феномену, который в исторической этнографии и антропологии получил название первобытно-общинного строя, а в марксистской исторической концепции настойчиво истолковывался как примитивная по форме, но коммунистическая по своей сути общественная организация. Самим основателям марксизма (Ф. Энгельсу, прежде всего) и их ближайшим последователям конца XIX—первых десятилетий XX века, принадлежит огромное количество исторических работ, выполненных в духе этой установки. Мы полагаем, что в связи с этим открывается еще одна принципиально важная перспектива развития постсоветского марксизма. Эти установки должны быть подвергнуты критическому анализу и в конечном счете пересмотрены с учетом данных современной этнологии и культурной антропологии. В этой отрасли знаний к настоящему времени накоплен столь значительный материал, что, не учитывая его, никакая социальная теория не может оставаться состоятельной.

Таков круг важнейших проблем, с которыми неизбежно будет сталкиваться то идейное течение, которое условно мы назвали постсоветским марксизмом. Мы не берем на себя смелость предугадать, как именно эти проблемы будут решены. Но сам факт их существования позволяет сделать вывод, что это новое течение, во-первых, будет очень мало похоже на своего предшественника в лице догматического советского марксизма, а во-вторых, несмотря на непопулярность своего предшественника, сможет смело претендовать на роль течения, прочно удерживающего господствующее положение в общественном сознании нашего социума.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Характеризуя смысл и значение XX съезда КПСС в советской истории, мы говорили, что оно образовало в идеологической ткани советского общества разрыв между сталинизмом и коммунизмом. На этом разрыве выросли четыре возможных теоретических отношения к этому разрыву: коммунистический антисталинизм, коммунистический сталинизм, антикоммунистический антисталинизм и антикоммунистический сталинизм. Последнюю позицию, предполагающую героическое возвеличивание личности Сталина и его политики как направленной на уничтожение коммунизма, мы назвали логически возможной. Эта позиция осталась вне поля нашего рассмотрения, поскольку очевидно, что она основана на апелляции не к Марксу, а к культуре сильного государства и другим откровенно правым идеям. Тем не менее мы считаем целесообразным сказать хотя бы несколько слов об этой позиции, во-первых, потому что в современной России неосталинизм представляет собой заметное явление в сфере идей, а во-вторых, потому что эта позиция наиболее последовательно выражает собой тот разрыв коммунизма и сталинизма, который последний нес в себе с самого начала своего исторического существования.

Этот новый сталинизм отличается от старого не только более откровенным выражением своей внутренней природы. Это качественно иное идейное течение, так как если старый сталинизм, возникший уже после разоблачений культа личности, был приемлем для его приверженцев только при условии оправдания массовых репрессий как неизбежного, но все же несомненного зла, то новый сталинизм для его адептов привлекателен именно самим фактом массовых репрессий. Особое любопытство вызывают способы обоснования системы сталинизма как не только исторически необходимой, но и оптимальной для советского строя. В самом общем виде эти доводы выглядят следующим образом.

Утверждается, что к началу создания сталинской системы революционное движение в Европе уже потерпело окончательное поражение, и поэтому сталинский изоляционизм, выразившийся в курсе на строительство социализма в одной отдельно взятой стране, не имел альтернативы. Этот довод нуждается в серьезных исторических аргументах, и если судить по активности Коминтерна в 20—30-е годы, то сама правящая элита в СССР вовсе не была так безоговорочно уверена в бесперспективности революционных движений в Европе. В то время курс на строительство социализма в одной стране обосновывался иными аргументами. Начав это строительство, сталинский СССР столкнулся с тремя опасностями: с агрессией империалистических держав и с последующей оккупацией; с возможностью внутреннего мятежа и реставрацией старых порядков; с постепенным перерождением партийной и государственной бюрократии в новую буржуазию. Утверждается, что Сталину удалось полностью справиться с первыми двумя опасностями и нейтрализо-

вать третью по меньшей мере на полстолетия. Но эти доводы, чаще всего приводимые в защиту сталинской политики или для оправдания якобы неизбежной ее жестокости, также не выдерживают серьезной критики. Утверждение, что сталинской системе удалось избежать внешней агрессии, будет правомерным только в том случае, если будет обосновано другое утверждение — о том, что такая агрессия являлась неизбежной, и лишь внешние факторы ее сдерживали. Если в послевоенное время к таким факторам можно отнести наличие атомного оружия у СССР, то в довоенное время о таких сдерживающих факторах умалчивается. Два довоенных десятилетия с точки зрения возможного агрессора были оптимальными для нападения на СССР, но этой возможностью потенциальный агрессор не воспользовался, что нуждается в особых разъяснениях. Кроме того, предполагается, что реальный агрессор — гитлеровская Германия — действовал в интересах всего противостоящего СССР блока западных стран, что также основывается на чрезвычайно слабой аргументации.

Что касается возможности внутреннего мятежа, то именно ее устранение в глазах неосталинистов оправдывает массовые репрессии. Этот аргумент отличается элементарной недобросовестностью, так как фактически исключает именно массовый характер сталинских репрессий, ограничивая их объект одной лишь правящей элитой. Помимо этого, даже говоря о партийной и государственной бюрократии, достаточно легко убедиться, что все репрессированные, как минимум, за год или два до ареста уже были смещены с имеющих весомое значение постов, и их физическое устранение якобы с целью предотвращения заговора было лишено смысла. Следственные и судебные дела

репрессированных говорят об отсутствии даже намеков на доказательства их вины. Но, очевидно, ту часть партийной элиты, которая занималась реабилитацией, именно такое — совершенно произвольное и исключительно репрессивное — использование следствия и суда полностью устраивало. Поэтому юридическая оценка сталинского террора против собственного населения так и не была в свое время дана, что в конечном счете стало благоприятной почвой для неосталинистских спекуляций.

Относительно неизбежного буржуазного перерождения партийной и государственной элиты, которое сталинской системе удалось значительно отсрочить, следует сказать, что даже чисто теоретическое обсуждение подобной задачи внутри этой системы было абсолютно невозможным. Тезис о возможном перерождении бюрократии прочно связывался с троцкизмом, а сама элита видела гарантии против этого процесса исключительно в своем рабочем или крестьянском происхождении. Поэтому, если опасность перерождения элиты и существовала объективно, то самой элитой она не осознавалась и каких-либо специальных мер для предотвращения этой опасности она не предпринимала. Предполагать, что одной из таких мер и были репрессии, — значит либо утверждать, что в распоряжении правящей верхушки находились какие-то мистически эффективные методы кадровой селекции, позволяющие отделить тех, кто склонен к перерождению, и заранее их уничтожить, либо полагать, что репрессии совершались произвольно, с единственной целью посеять страх перед возможным перерождением. Оба предположения в равной мере фантастичны.

Неосталинисты считают, что эта система имела широкую социальную базу в среде некоммунисти-

ческих элементов общества, прежде всего в той массе крестьянского населения, которая в рамках индустриализации переселилась в города и воспринимала свое новое положение как привилегированное. Но подобно тому, как коллективизация и сопровождавшие ее репрессии были необходимым шагом в силу явной ограниченности внутренних ресурсов для индустриализации, так и в тот момент, когда власть осознала, что этот источник был исчерпан и больше, чем позволяет коллективизация, из села для развития индустрии не получить, необходимым шагом был поиск новых источников. Разумеется, этот новый источник, найденный в подневольном труде огромной массы заключенных, мог решать лишь временные проблемы. Но рекрутировалась «лагерная пыль» именно из массы переселенного в города крестьянства, то есть из того слоя, который действительно был социальной опорой системы сталинизма. Сталинизм стал жертвой тех грандиозных демографических процессов, которые сам же и спровоцировал.

Несложно заметить, что подобного рода аргументация чаще всего сопровождается ссылками на тяжелое положение в движении левых сил, на необходимость объединяться перед лицом общего врага и, как следствие, доводами о деструктивном характере любой критики сталинизма. Поскольку сталинский вариант социализма — единственный, который существовал в реальности, то такая критика таит в себе опасность выплеснуть вместе с водой и ребенка. Если единственный вариант социализма, существовавший в реальности, объявить абсолютным злом, то злом неизбежно становится и социализм вообще, социализм как идея. Критика сталинизма объявляется тактически нецелесообразной ради сохранения социализма как

идеи, хотя именно сталинская система планомерно с этой идеей боролась и ее уничтожала. Неосталинизм, с его культом сильного государства, активно противостоящего любой революционной деятельности и без ненужных раздумий о законности уничтожающего своих врагов, чаще всего мнимых, уже не нуждается в идее социализма. Его перерождение в свою противоположность вполне закономерно, как закономерен и неизбежен переход от восхваления диктатуры, находящей свое обоснование в левой идеологии, к восхвалению самодержавия любого вида. Сталин как наследник царизма, восстановивший империю и даже увеличивший ее границы, и как предшественник или даже некий образец для будущих самодержцев — этот комплекс идей никакого отношения к марксизму уже не имеет. В постсоветском марксизме, за которым, по нашему глубокому убеждению, большое будущее, этот комплекс идей должен стать объектом самой беспощадной критики.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Адорно Т.* Избранное: социология музыки. М.; СПб., 1999.
2. *Адорно Т.* Негативная диалектика. М., 2003.
3. *Алексеев В. В., Нефёдов С. И.* Гибель Советского Союза в контексте истории мирового социализма // *Общественные науки и современность.* 2002. № 6. С. 66–77.
4. *Андерсон П.* Размышления о западном марксизме. М., 1991.
5. *Андреева И. С.* Философы России второй половины XX века. Портреты. М., 2009.
6. *Арватов Б.* Социологическая поэтика. М., 1928.
7. *Арсланов В. Г.* Постмодернизм и русский «третий путь». *Tertium datur* российской культуры XX века. М., 2007.
8. *Асмус В. Ф.* Очерки диалектики в новой философии. Киев, 1924.
9. *Бажов С. И.* Философия истории Н. Я. Данилевского. М., 1997.
10. *Бакрадзе К. С.* Проблема диалектики в немецкой философии. Тбилиси, 1929.
11. *Баландин Р. К.* Тайны завещания Ленина. М., 2007.
12. *Батай Ж.* Психологическая структура фашизма // *Новое литературное обозрение.* 1995. № 13.
13. *Бахтин М. М.* Тетралогия. М., 1998.
14. *Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества. М., 1979.
15. *Беньямин В.* Автор как производитель // *Беньямин В.* Учение о подобии. М., 2012.
16. *Беньямин В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.
17. *Беньямин В.* Франц Кафка. М., 2000.

18. *Бибихин В. В.* Собственность. Философия своего. СПб., 2012.

19. *Бухарин Н. И.* Теория исторического материализма. Популярный учебник марксистской социологии. М., 1921.

20. *Воронский А.* Искусство как познание жизни и современность. Иваново-Вознесенск, 1924.

21. *Выготский Л. С.* Исторический смысл психологического кризиса // Выготский Л. С. Собр. соч. В 6-ти т. Т. 1. М., 1982.

22. *Гайдар Е., Мау В.* Марксизм между научной теорией и светской религией (либеральная апология) // Вопросы экономики. 2004. № 5.

23. *Галенович Ю. М.* Китайские поминки по КПСС и СССР. М., 2011.

24. *Галушкин А.* Андрей Платонов — И. В. Сталин — «Литературный критик» // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. 2000.

25. *Гвишиани Д. М.* Избранные труды по философии, социологии и системному анализу. М., 2007.

26. *Гегель Г. В. Ф.* Феноменология Духа. М., 2009.

27. *Гегель Г. В. Ф.* Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М., 1974.

28. *Горев Б. И.* Очерки исторического материализма. Харьков, 1925.

29. *Горький М.* Несвоевременные мысли и рассуждения о революции и культуре (Новая жизнь, 1917—1918 гг.) // Несвоевременные мысли. М., 1990.

30. *Грамыши А.* Избранные произведения в трех томах. Т. 3. Тюремные тетради. М., 1959.

31. *Гришин В. В.* Катастрофа. От Хрущёва до Горбачёва. М., 2011.

32. *Гурко Е.* Модальная методология Давида Зильбермана. Минск, 2007.

33. *Гусейнов А. А.* (ред.) Александр Александрович Зиновьев. М., 2009.

34. *Давыдов Ю. Н.* Труд и искусство: избранные сочинения. М., 2008.

35. *Деборин А. М.* Диалектика и естествознание. М.; Л., 1929.

36. *Делюсин Л. П.* Культурная революция в Китае. М., 1967.

37. *Дмитриев А. Н.* Марксизм без пролетариата: Георг Лукач и ранняя Франкфуртская школа (1920—1930-е годы) СПб.; М., 2003.

38. *Днепров В.* Идеи времени и формы времени. Л., 1980.

39. *Достоевский Ф. М.* Идиот. М., 1981.

40. *Земляной С.* История, сознание, диалектика. Философско-политическая мысль молодого Лукача в контекстах XXI века // Лукач Г. История и классовое сознание. М., 2003.

41. *Земляной С.* Лукач и Брехт как советские писатели, или левая эстетическая теория о мимезисе и катарсисе // Независимая газета. 14 ноября 2002 г.

42. *Земляной С.* Человеческий проект Б. Брехта // Брехт Б. Ме-ти. Книга перемен. М., 2004.

43. *Земляной С.* Что такое эзотерический марксизм? // Независимая газета. Приложение Книжное обозрение «Ex libris НГ», 1999. 28 янв. (N 3).

44. *Зильберман Д. Б.* Генезис значения в философии индуизма. М., 1998.

45. *Зильберман Д. Б.* Приближающие рассуждения между тремя лицами о модальной методологии и сумме метафизик // Пятигорский А. М. Избранные труды. М., 1996.

46. *Жучкова В. А., Блауберг И. И.* (ред). Валентин Фердинандович Асмус. М., 2010.

47. Идеино-политическая сущность маоизма. М., 1977.

48. *Иоффе И. А.* Избранное. Синтетическая теория искусств. Культура и стиль. М., 2010.

49. *Киссель М. А.* Дороги свободы Ж.-П. Сартра // Вопросы философии. 1994. № 11.

50. *Ключевский В. О.* Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968.

51. *Кузнецов Ю. В.* Русский мир на пути к общечеловеческому единству. Историкофилософские концепции. Мурманск, 2011.

52. Куртуа С., Верт Н., Панне Ж-Л., Пачковский А. и др. Черная книга коммунизма. М., 2001.
53. Ленин В. И. Государство и революция // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33.
54. Ленин В. И. Критические заметки по национальному вопросу // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 24.
55. Лекторский В. А. (ред.) Генрих Степанович Батищев. М., 2007.
56. Лефор К. Политические очерки. М., 2000.
57. Лигачёв Е. К. Кто предал СССР. М., 2011.
58. Мих. Лифшиц и Г. Лукач. Переписка. 1931—1970. М., 2011.
59. Лифшиц М. Лукач // Вопросы философии. 2002. № 12. С. 105—140.
60. Лифшиц М. А. Собр. соч. В 3-х т. Т. III.
61. Лифшиц Мих. Письма В. Досталу, В. Арсланову, М. Михайлову. М., 2011.
62. Лифшиц Мих. Что такое классика? М., 2004.
63. Лифшиц М. А. *Varia*. М., 2010.
64. Лобастов Г. В. Философия Э. В. Ильенкова // Вопросы философии. 2000. № 2. С. 169—175.
65. Лукач Г. Критические заметки к брошюре Розы Люксембург «Русская революция» // Лукач Г. История и классовое сознание. М., 2003.
66. Лукач Г. Ленин и классовая борьба. М., 2008.
67. Лукач Г. Николай Бухарин. Теория исторического материализма (рецензия) // Лукач Г. Ленин и классовая борьба. М., 2008.
68. Лукач Г. По поводу дебатов между Китаем и Советским Союзом // Философские науки. 1989. № 6. С. 105—106.
69. Роза Люксембург. Из письма Марте Розенбаум. Бреслау, позднее 12 ноября 1917 г // Роза Люксембург: Актуальные аспекты политической и научной деятельности. (К 85-летию со дня гибели.) Международная конференция в Москве 12 февраля 2004 г. М., 2004.
70. Роза Люксембург. Наша Программа и политическая ситуация. Доклад на Учредительном съезде Коммунистической

партии Германии 31 декабря 1918 г. в Берлине // Роза Люксембург: Актуальные аспекты политической и научной деятельности. М., 2004.

71. *Роза Люксембург*. О социализме и русской революции. М., 1991.

72. *Роза Люксембург*. Организационные вопросы русской социал-демократии // Рабочий класс и современный мир. 1990. № 6.

73. *Роза Люксембург*. Рукопись о русской революции // Вопросы истории, 1990. № 2.

74. *Роза Люксембург*. Чего хочет Союз Спартака // Роза Люксембург: Актуальные аспекты политической и научной деятельности. (К 85-летию со дня гибели.) Международная конференция в Москве 12 февраля 2004 г. М., 2004.

75. *Магуайр Р.* Красная новь. Советская литература в 1920-х гг. (Современная западная русистика. Т. 50). СПб., 2004.

76. *Майданский А. Д.* История и общественные идеалы // Вопросы философии. 2010. № 2.

77. *Майданский А. Д.* Логика и феноменология всемирной истории // Вестник МГУКИ. 2005. № 3.

78. *Майданский А. Д.* Понятие истины в диалектической логике Ильенкова // Свободная мысль. 2009. № 8. С. 169—178.

79. *Мао Цзэдун*. Выдержки из произведений. Пекин, 1967.

80. *Мареев С. Н.* Из истории советской философии: Лукач—Выготский—Ильенков. М., 2008.

81. *Мареев С. Н.* Ильенков. Ростов-на-Дону, 2005.

82. *Мареев С. Н.* Методология исторического исследования: социальная философия и материалистическое понимание истории // Логос. Философско-литературный журнал. 2011. № 2.

83. *Мареев С. Н.* От Канта и Кассирера к Ильенкову: проблема идеальности человеческих чувств // Вопросы философии. 2009. № 9.

84. *Маркс К.* — Даниельсону. 10 апреля 1879 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 34.

85. *Маркс К., Энгельс Ф.* Из ранних произведений, М., 1956.

86. *Маркс К.* Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2. Т. 23.

87. *Маркс К.* Критика политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1.

88. *Маркс К.* набросок ответа на письмо В. И. Засулич // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 19.

89. *Маркс К.* Передовица в № 179 «Кельнской газеты» (14 июля 1842 г.) // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 1.

90. *Маркс К.* Письмо к Руге (сентябрь 1843 г.) // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 1.

91. *Маркс К.* Результаты непосредственного процесса производства // Маркс К., Энгельс Ф., Соч. Т. 49.

92. *Маркс К.* Теории прибавочной стоимости // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. 1.

93. *Маркс К.* Философско-экономические рукописи 1844 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Изд. 2. Т. 23.

94. *Маркс К.* Экономические рукописи 1857—1859 годов // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1.

95. *Маркузе Г.* Разум и революция. М., 2000.

96. *Мартиросян А. Б.* Кто привел войну в СССР? М., 2007.

97. *Мартов Ю.* Идеология советизма. Мистика советской системы // Мартов Ю. О. Мировой большевизм. Берлин, 1923.

98. *Мартов Л.* Что же теперь? // Новая жизнь. 1917, 16 (29) июля; *Мартов Л.* Наши задачи // Искра. 1917. 26 сентября.

99. *Медушевская Н. Ф.* Традиции исихазма в российской правовой культуре // Труды СГА. Вып. 1 (январь). Юриспруденция. Образование. Социология. Менеджмент. Психология. Лингвистика. М., 2010.

100. *Науменко Л. К.* Незнакомый марксизм: новые вопросы и новые ответы // Альтернативы. 2011. № 1.

101. *Науменко Л. К.* Эвальд Ильенков и мировая философия // Вопросы философии. 2005. № 5. С. 132—144.

102. *Неретина С. С.* (ред). Михаил Константинович Петров. М., 2010.

103. *Нефедов С. И.* Демографически-структурный анализ социально-экономической истории России. Екатеринбург, 2005.
104. *Новгородцев П. И.* Лекции по истории философии права // Новгородцев П. И. Соч. М., 1995.
105. *Неусыхин А. И.* «Эмпирическая социология» Макса Вебера и логика исторической науки // Под знаменем марксизма. 1927. № 9, 12.
106. *Неусыхин А. И.* Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI–VIII вв. М., 1956.
107. *Нуцубидзе Ш. З.* Введение в философию. Тбилиси, 1920.
108. *Нуцубидзе Ш. З.* Основы алетологии. Тбилиси, 1922.
109. *Пантин И. К.* Октябрьский перелом: триумф и поражение Ленина // Альтернативы. 2010. № 2.
110. *Петров М. К.* Античная культура. М., 1997.
111. *Платонов А.* Чевенгур // Платонов А. Соч. В 5 т. Т. 2. М., 1998.
112. *Плеханов Г. В.* Логика ошибки // От первого лица. М., 1992.
113. *Плеханов Г. В.* О тезисах Ленина и о том, почему бред бывает подчас весьма интересным // От первого лица. М., 1992.
114. *Плотников Н.* Советская философия: институт и функция // Логос. 2001. № 4.
115. Полемика о генеральной линии международного коммунистического движения. Пекин, 1965.
116. *Померанц Г.* Записки гадкого утенка. М., 2003.
117. *Попович М. В.* П. В. Копнин: страницы философской биографии // Вопросы философии. 1997. № 3.
118. *Потемкин А. В.* Метафилософские диатрибы на берегах Кизитеринки. Ростов-на-Дону, 2003.
119. *Риккерт Г.* Науки о природе и науки о культуре. СПб., 1911.

120. *Сартр Ж.-П.* Марксизм и экзистенциализм // Ж.-П. Сартр. Проблема метода. М., 2008.
121. *Сартр Ж.-П.* Проблемы метода. М., 2008.
122. *Сартр Ж.-П.* Прогрессивно-регрессивный метод // Ж.-П. Сартр. Проблема метода.
123. *Сидоров А. Н.* Жан-Поль Сартр и либертарный социализм во Франции. М., 2006.
124. *Сильвестров В. В.* Культура. Деятельность. Общение. М., 1998.
125. *Соловьев С.М.* Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984.
126. *Соломенцев М.* Зачистка в Политбюро. Как Горбачёв убирал «врагов перестройки». М., 2011.
127. *Сталин И. В.* Октябрьская революция // Соч. И. В. Сталина. Т. 6. М., 1946.
128. *Сталин И. В.* О некоторых вопросах истории большевизма. Письмо в редакцию журнала «Пролетарская Революция» // Соч. И. В. Сталина. Т. 13. М. 1946.
129. *Сталин И. В.* Ответ Олехновичу и Аристову: По поводу письма в редакцию журнала «Пролетарская Революция» «О некоторых вопросах истории большевизма» // Соч. И. В. Сталина. Т. 13. М., 1946.
130. *Стыкалин А. С.* Дьердь Лукач — мыслитель и политик. М., 2001.
131. *Сумин О. Ю.* Гегель как судьба России. Краснодар, 2005. С. 161.
132. *Толстых В. И.* Пока на эти вопросы нет разумных ответов // Литературная газета. М., 2006. № 7.
133. *Толстых В. И.* (ред). Эвальд Васильевич Ильенков. М., 2009.
134. *Троцкий Л. Д.* В защиту марксизма. Cambridge (MA, USA), 1995.
135. *Троцкий Л. Д.* Две речи на заседании ЦКК // Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР. Т. 3. М., 1990.

136. *Троцкий Л. Д.* История русской революции. В 2-х т. Т. 2. М., 1997.
137. *Троцкий Л. Д.* Их мораль и наша // Вопросы философии. 1990. № 5. С. 105–126.
138. *Троцкий Л. Д.* Классовая природа советского государства. 1 октября 1932 г. // Бюллетень оппозиции. 1933. № 36–37.
139. *Троцкий Л. Д.* Перманентная революция. Cambridge (MA, USA), 1997.
140. *Троцкий Л. Д.* Преданная революция. М., 1991.
141. *Троцкий Л. Д.* СССР в войне // Антология позднего Троцкого. М., 2007.
142. *Узнадзе Д. Н.*, Основы экспериментальной психологии. Т. I. Тбилиси, 1925.
143. *Ульянов В. М.* Кризис СССР. Причины и последствия. М., 1999.
144. *Фриче В. М.* Воронский // Литературная энциклопедия. Т. 2. М., 1930.
145. *Фромм Э.* Из плена иллюзий // Фромм Э. Душа человека. М., 1998.
146. *Фромм Э.* Иметь или быть? Ради любви к жизни. М., 2004.
147. *Фуко М.* Археология знания. Киев, 1996.
148. *Фуко М.* Интеллектуалы и власть. Ч. 2. М., 2005.
149. *Фурсов А.* Номенклатурные сатурналии // Литературная газета. 2006, № 7.
150. *Хабермас Ю.* Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб., 2001.
151. *Хабермас Ю.* Философский дискурс о модерне. М., 2008.
152. *Хардт М., Негри А.* Империя. М., 2004.
153. *Хоркхаймер М, Адорно Т.* Диалектика Просвещения: Философские фрагменты. М.; СПб., 1997.
154. *Хоружий С. С.* К феноменологии аскезы. М., 1998.
155. *Хоружий С. С.* Опыты из русской духовной традиции. М., 2005.

156. *Хоружий С. С.* Очерки синергийной антропологии. М., 2005.
157. *Хоружий С. С.* Фонарь Диогена. М., 2010.
158. *Чернов В. М.* Анархистствующий бланкизм // Дело народа. 1917, 13 июня.
159. *Ципко А. И.* Люди вздохнули с облегчением // Литературная газета. 2006, № 7.
160. *Энгельс Ф.* — Йозефу Блоху. В Кенигсберг. 21—22 сентября 1890 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 37.
161. *Юдин Б. Г.* (ред). Эрик Григорьевич Юдин. М., 2010.
162. *Юдин Э. Г.* Методология науки. Системность. Деятельность. М., 1997.
163. *Янаев Г. И.* ГКЧП против Горбачёва. Последний бой за СССР. М., 2011.
164. *Castoriadis C.* Les rapports de production en Russie // Socialisme ou Barbarie. Mai 1949. № 2.
165. *Castoriadis C.* Sartre, le stalinisme et les ouvriers // Castoriadis C. L'experience du mouvements ouvrier. T. 1. P., 1973.
166. *Marcuse H.* Soviet Marxism: A Critical Analysis. New York: Columbia University Press, 1958.
167. *Sartre J.-P.* Situations X. Paris, 1964.
168. *Zilberman D.* Letter to J. Azrael. 1976. April 18.
169. *Zilberman D.* Orthodox Ethic and the Matter of Communism // Studies in Soviet Thought. 1977. Vol. 17.
170. *Zilberman D.* The Post-Sociological Society // Studies in the Soviet Thought. 1978. Vol. 18.
171. *Zilberman D.* A Social Portrait of The Soviet Intelligentsia // Theory and Society. 1978. Vol. 5.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Глава 1. Курс на построение социализма в отдельно взятой стране	12
1.1. Критика справа: тезис о преждевременности русской революции	12
1.2. Критика слева: отложенная мировая революция и бюрократическое перерождение советского государства	40
1.3. Превращение марксизма в идеологию	67
Глава 2. СССР как сверхдержава	100
2.1. Критический опыт преодоления сталинизма ...	100
2.2. Леворадикальные проекты критики советского исторического опыта (маоизм, либертарный социализм)	137
2.3. Критика советского марксизма во Франкфуртской школе	165
2.4. Феномен советской философии	196
Глава 3. Геополитическая катастрофа СССР и судьбы марксизма в XXI веке	227
3.1. Западный марксизм о причинах распада СССР	227
3.2. Постсоветский марксизм: основной круг проблем и перспективы развития	258
Вместо послесловия	287
Литература	293

Сергей Иванович Дудник
Маркс против СССР.
Критические интерпретации советского
исторического опыта в неомарксизме

Верстка Н. Р. Зянкиной

Подписано к печати. 05.06.2013. Формат 60×84 ¹/₁₆.
Бумага офсетная. Гарнитура Петербург. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 17.7. Уч.-изд. л. 12.4. Тираж. 800. Тип. зак. № 976,

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
E-mail: main@nauka.nw.ru
Internet: www.naukaspb.com

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 978-5-02-038357-9



9 785020 383579